18+

Александр Николаевич
Прохоров

Часовых дел ангел

и другие рассказы

Александр Николаевич Прохоров

Часовых дел ангел.
И другие рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23142629
ISBN 9785448383717

Аннотация

Свой первый сборник «Лирика прозы жизни» Александр опубликовал почти 15 лет назад. В данную книгу вошла часть рассказов того времени, а также пара десятков новых. Большинство из них посвящены нашим дням – времени, в которое мы вошли очень стремительно, и многое не успели уяснить для самих себя. При этом в центре внимания не внешняя сторона новых явлений, о которых так много написано в детективном жанре, – автор пытается заглянуть в души людей, вовлеченных в повседневный круговорот. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

ЧАСОВЫХ ДЕЛ АНГЕЛ и другие рассказы 6
Рассказы разных лет 7
Кажется, мы его нашли 7
Часовых дел ангел 11
Когда я держу ее за руку 14
Витенька 29
Голоса птиц, запахи с поля и ощущение счастья 34
Друзья? 37
Сострадание 43
Таинственная незнакомка 49
Распятие 53
Наташа 54
Иван Ильич 55
Диалог в постели 73
Любимое время года 81
Плетеный ремень 88
Последняя встреча 100
Изобретательская жилка 105
Другая культура 107
Свалка, звезды, рок-н-ролл 112
Закурить не найдется? 117
Игры для взрослых 118

Путешествие из Купавны В МОСКВУ 122
Пятница и суббота 125
Картина на простыне 131
Газа нет! 140
Догоняем Японию 146
Я не псих! 148
Фима и Сережа 151
Конец ознакомительного фрагмента. 158

Часовых дел ангел
И другие рассказы

Александр Николаевич Прохоров

Иллюстратор Александр Николаевич Прохоров

© Александр Николаевич Прохоров, 2020
© Александр Николаевич Прохоров, иллюстрации, 2020

ISBN 978-5-4483-8371-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧАСОВЫХ ДЕЛ АНГЕЛ
и другие рассказы

Свой первый сборник рассказов «Лирика прозы жизни» Александр Прохоров опубликовал более 15 лет назад. В новую книгу вошла часть рассказов того времени, а также три десятка новых. Большинство из них посвящены нашим дням – времени, в которое мы вошли очень стремительно, и многое не успели уяснить для самих себя.

При этом в центре внимания не внешняя сторона новых явлений, о которых так много написано в детективном жанре, – автор пытается заглянуть в души людей, вовлеченных в повседневный круговорот. Персонажи книги задаются вечными вопросами: почему человек страдает, почему люди не могут понять близких? Писатель добр к своим героям – молодым и совсем юным, пожилым и очень пожилым. Ненавязчиво, даже робко он помогает внимательнее приглядеться к тем, кто рядом, понять их.

Андрей Красильников, Первый секретарь профессионального союза писателей России

Рассказы разных лет

Кажется, мы его нашли

После смерти матери дочка хотела переселить старика-отца. Муж отчасти был прав, когда говорил: «Как так – он один в трехкомнатной в центре, а мы втроем в двушке на окраине». Впрочем, переезжать к старику наотрез отказался.

Навещала отца в очередной раз, разоткровенничалась с соседкой, и та сказала:

– Что вы, он там потеряется совсем, тут ему все знакомо, тут всю жизнь почти прожил тут и … – она сделала паузу и деликатно вывернулась, – тут и поживет подольше.

Дочка приезжала аккуратно, готовила, мыла пол, целовала в лысину. Отец путал не только дни недели, но и месяцы, а детство, напротив, вспоминал с такими подробностями, каких она раньше и не слышала от него никогда.

Старику и в самом деле сподручнее было в знакомой обстановке. Подумать только – сколько же он тут прожил! Получили родители эту квартиру вскоре после войны – было ему тогда пять лет, не маленький. Вечерами сидел один в гостиной, рассматривал альбомы с фотографиями – восстанавливал в памяти, какие где были обои, как была расставлена в его детстве мебель. Помогали пометки, выведенные мами-

ной рукой: «новый 1957-й год», «февраль 1963-го». Сравнивал по тем самым фото, что где стояло, что было вместо телевизора, какие цветы на окне.

Впрочем, часть вещей прожили с ним вместе эти семьдесят лет. Тот же буфет, тот же шкаф. Этот шкаф – особая статья. Впрочем, самый обычный, 70 лет назад такие стояли во многих благополучных семьях. Прочный, добротный. Кстати, на шкафу сверху располагался сундук, в котором хранились отрезы на платья, платки, вещи еще с довоенных времен. Высокий потолок позволял хранить огромный сундук на высоком шкафу.

С этим шкафом много что было связано. В левом нижнем ящике под полками с бельем лежали его игрушки. У него было много игрушек, конечно не так много, как у современных детей, – все помещались в том ящике. За створкой с зеркалом была целая комната. Темная, уютная, с гладким скользким деревом под попой. Со свисающими с потолка маминых платьями. С позвякивающей (если ее задеть) печатной машинкой под черным кожаным чехлом.

Как хорошо было здесь сидеть, дышать духотой и пылью, смешанной с запахом нафталина, маминых платьев и всеми теми запахами, которые дают ощущение дома и покоя беззаботного детства.

И если удавалось поиграть в прятки с гостями, то это было лучшее место, где тебя долго не могли найти. Даже если кто-то раскрывал дверцы, то можно было забиться в самый угол,

упереться носом в стену, и, не дыша, надеяться, что тебя так никто и не найдет под полами костюмов и платьев.

А как-то раз он сидел в шкафу с фонариком и гвоздем нацарапал на стенке свое имя – понимал, что за такое по головке не погладят, но, как говорится, пронесло.

И вот теперь Старик вспомнил про надпись. Неужели его имя и сейчас можно нащупать на внутренней стенке в шкафу?

А почему нет? Имя не изменилось, шкаф тот же, почему невозможно найти надпись? И все-таки странно – за семьдесят с небольшим лет его так никто и не отругал за тот проступок и, видимо…

Он уже открывал створки шкафа, рассуждая про себя: «Надпись, положим, сохранилась, а запах – может быть, он тоже остался?»

В последнее время Старик здорово похудел и как-то осунулся, и пол в шкафу его выдержал запросто. В шкафу было тесно, но не то чтобы совсем тесно, вещей поубавилось, не было в углу печатной машинки, дерево под попой было такое же гладкое, стены на ощупь такие же, вот она надпись под пальцами, букв без фонарика не разобрать. Он закрыл привычным движением створки, стало совсем темно, уткнулся носом в коленки, Господи, да вот совсем недавно он тут сидел – в доме гости, сын папиного друга – Юрка – водит, ему подсказывает дядя Женя: «Ты посмотри, посмотри в шкафу».

А он сам сидит здесь – в этом самом месте, слышит, как открывается створка шкафа и кто-то кричит: «Кажется мы его нашли!» Но он не выходит, вжимается в угол, молчит и, кажется, не дышит, и только сердце замирает в груди…

Старик не слышал, как на столе дребезжал его мобильный телефон. Звонила дочка.

Дочка нервничала: «Папа, возьми трубку! Давно надо было настоять, переехать к отцу. Не дай Бог, – говорила она про себя. – Папочка, возьми трубку, папа».

Дочка позвонила соседке. Длинные гудки, потом, вроде, гудки кончились совсем, долго не было гудков, потом вдруг… нет – еще один гудок, потом еще, нет, никто не подходит. Она набрала скорую:

– Девушка, 75, видимо, приступ стенокардии. Нет, он один, ему плохо, он жаловался, я знаю, он не может взять трубку. Я буду там через сорок минут, на днях был приступ, я заплачу любые деньги, я чувствую. Да живет один, ключи у соседки, напротив, квартира 25, звоните туда, я тоже еду.

Санитар и дежурный врач зашли в комнату, соседка бегала по квартире, заглянула в чулан, уборную. Старик пропал.

– Степан Василич, где вы?! – кричала она, все более нервничая и недоумевая.

– Вы что издеваетесь? – возмущался недовольный врач, обходя по очереди комнаты и заглядывая за занавески. – Мы что тут с вами в прятки играть будем.

– Послушайте, он месяц уже никуда не выходил, – оправ-

дывалась соседка.

Врач тем не менее в очередной раз обошел комнату, направился к шкафу, распахнул дверцу, стоял несколько секунд. А потом негромко крикнул:

– Кажется мы его нашли…

Он услышал эту фразу «Кажется мы его нашли» и как кто-то раскрыл дверцу. Была слабая надежда, что, несмотря на то что дверца открылась, его все равно не видно, он вжался в стенку, уткнувшись лицом в мешок с зимними вещами, и замер.

А голос какой знакомый – кто же это подсказал, кажется дядя Женя… Створка раскрылась, но в шкафу никто не шарит.

И не имея больше сил терпеть эту паузу, не зная – то ли правда его уже нашли, то ли найдут прямо сейчас в следующее мгновение, он вдруг вскочил, распахнул висевшие над ним платья как занавески, выпрыгнул в светлую комнату, жмурясь от яркого света.

И увидел всех сразу. Перед шкафом стояли полукругом Мама, Папа, тетя Лида, ее муж, и все остальные гости. И как же все обрадовались, что он наконец нашелся!

2018

Часовых дел ангел

По вечерней Москве шел часовых дел ангел. Шел усталый

в конце рабочего дня, с рюкзаком за спиной, в старых разношенных кроссовках на босу ногу, и путь у него был длинный, много еще куда нужно было поспеть до полуночи. Ангел дошел до остановки, сел на рейсовый и поехал в село Мелихово, где было с десяток семей, которые он, так скажем, обслуживал по своей небесной канцелярии. Уже совсем стемнело, когда ангел открыл калитку, что вела на знакомый участок. Здесь в старом, еще довоенной постройки доме проживал дед Василий со своим, как дед выражался, «плоймом», то есть многочисленным семейством.

Впрочем, не такое уж оно было и многочисленное – старуха-жена, сын Иван, да сноха Вера, да внуки: Илья – старшеклассник, Леночка – первоклассница и Мишенька – самый маленький, самый беленький – от роду четырех с половинкою лет. И если всех вспоминать, кто там был под крышей, так кошка Мурка еще была и трое котят, которых она же и принесла с месяц назад.

Котята спали теперь вповалку все трое частично друг на друге в коробке из-под обуви возле печки. Мурка тоже спала рядом, все уже спали в этом доме, не спал только дед Василий, он-то и вышел во двор, когда калитка скрипнула.

Дед ждал часовых дел ангела. А больше о нем, об ангеле, никто и знать не знал.

– Пойдем ко мне в сараюшку, – сказал дед Василий.

Ангел уже знал это уютное местечко, ступал по садовой дорожке за дедом. Сараюшка-бытовочка была хоть и малень-

кая, а вместительная – там у деда и инвентарь садовый, и инструмент, и всякая всячина, и на все места хватает и еще остается. На стене веники висят березовые, ароматные, стол малюсенький, табуретки две штуки – есть на что присесть, где примоститься, прибрано, – в общем, не стыдно ангела принимать.

– У меня и термос здесь свой, со зверобоем чай заварил, – сказал дед.

Но ангел отрицательно покачал головой – мол, извини, некогда – полез в свой рюкзак, достал потертый ноутбук, присел за стол, открыл крышку, надел очки, запустил excel, стал вглядываться в мелкие строчки.

– Какое у нас завтра число, двадцать третье, вторник? – бубнил себе под нос часовых дел ангел.

– Все так и есть, – вслух соглашался дед, он в экран не смотрел. Между дедом и ангелом было доверие, не первый год общались.

– Ну давай, заполняем, слушаю тебя, – сказал ангел, – ты, наверное, подумал уже, прикинул, кому на завтра сколько.

– Да, пиши мне 20 часов, на завтра мне более чем достаточно. Думки уже все передумал, забор починил. Старухе моей столько же, спина у нее что-то шибко болит. Ваньке со снохой по 25, сам понимаешь, семейство не маленькое, дела-заботы, на работу, с работы, по хозяйству, ну и молодые еще, пусть пошушукаются лишний часик перед сном. Школьникам два часа накинь, с этими иксами-игрека-

ми с налета не разберёшься, страшное дело, сколько уроков задают. А Мишеньке, Мишеньке – три.

– Что-то Мишке твоему много так?

– Пиши-пиши, от меня, от бабки, да у тебя в городе стариков одиноких сколько, небось тоже норму свою не выбирают, знаю, есть у тебя в загашнике всегда. Я же помню, в его возрасте сколько нужно было всего переделать: и с котятами поиграть, и на улицу соседнюю к ребятам, и по луже походить, грязь босыми ногами помесить, полепить из глины «блинчики», к соседям сходить чай попить с варением, потом еще прятки, вышибалы… Сколько всего разглядеть, потрогать, понюхать, потом книжку перед сном послушать. Пиши, говорю, ему три часа лишних, не меньше. Кого они радуют больше, эти часы, тому они и нужнее, разве не так?

– Ладно, ладно, – улыбался часовых дел ангел, глядя в экран, уж кому-кому, а ему все эти диалоги были хорошо знакомы.

Ангел занес часы и минутки в табличку, захлопнул крышку ноутбука и засобирался дальше по своим ангельским часовым делам.

2018

Когда я держу ее за руку

Мать с отцом прожили вместе больше шестидесяти лет, много чего прошли: сталинские времена, войну, дожили

до перестройки. Троих детей, как говорится, «подняли», включая меня.

Ходили последние годы, держась друг за друга – вернее, так: отец за палку, мать за него.

Отец был старше на шесть лет, и ушел раньше.

Мать прожила после этого еще целый год.

За всю жизнь не помню, чтобы она когда-то при мне плакала. Вот и после похорон вспоминала без слез: «Я в больницу приехала, смотрю – на отцовом месте кровати нет… Вышла из палаты, кровать его, оказывается, в коридор вывезли (она ж на колесиках), значит я первый раз мимо нее прошла – отца с головой накрыли, вот я и не заметила его, а под одеяло руку запустила – он еще теплый…».

Жить к матери на Арбат никто не переехал. Навещали ее с братом и сестрой то вместе, то по очереди. А когда поняли, что мать «чудит» и сама не справляется, стали приезжать на «дежурство» – жить с ней по несколько дней – готовить, убирать.

В первые мои такие дежурства мать обычная была: радовалась моему приезду, командовала как всегда, сетовала, что я «жить с умом» так и не научился.

Сидели в ее комнате, трудно было поверить, что отца в квартире нет, мне вспоминалось, как мы совсем недавно находились здесь втроем, и мать говорила:

– Сашок, ты бы отцу помог побриться, а то он возит электрической бритвой, а борода все растет.

Я тогда нашел станок, взбил помазком в стаканчике пену. Отметил про себя, что этот самый стаканчик брал лет сорок назад купаться в ванну. Бросаешь его в воду – он черпанет через край, наполнится на половину и потом плавает себе, не тонет.

В этот стаканчик макаю помазок, щедро наношу пену, вставляю в станок свежее лезвие. Щеки у отца проваливаются без протеза, он помогает мне – упирает язык в нужную часть щеки.

Мама так довольна, что мне не по себе.

Обедаем как всегда в гостиной (отец, сколько его помню, никогда не ел на кухне). Мать уносит грязную посуду, возвращается, садится играть на расстроенном пианино. Руки у нее так дрожат, что я не могу взять в толк, как пальцы ее попадают на нужные клавиши. Мы с отцом слушаем. Потом мать повторяет многократно слышанную мной историю про свою учительницу музыки. Среди прочего та говорит: «Зоечка, поиграешь подольше, в школу сегодня можешь не ходить» (она имеет в виду обычную школу, в которой, по ее мнению, Зоечке делать особенно нечего).

И вот мы не втроем – вдвоем, и мать за пианино уже не садится. Ужинаем с ней на кухне, в гостиную носить далеко, да и не для кого.

Нам с ней и на кухне хорошо.

Мать вроде та и не та. Что-то все прячет – ищет.

Жалуется: пропала ее маленькая коричневая сумка из чу-

лана. Спрашивает, не взял ли кто из моих друзей.

– Мам, не волнуйся, никому не нужна твоя сумка.

– Если б не нужна была – не взяли бы. У меня в этой сумке три куска мыла лежало.

– Мам, куплю я тебе мыла.

– Вот и купи. И сумку скажи, чтоб вернули.

Иду в чулан искать сумку. Но там такой шурум-бурум, отыскать что-либо не реально: книги, папины доски, спинка какой-то кровати, банки засахаренного варенья, валенки.

Какая там сумка?! Возвращаюсь в комнату.

Мать уже забыла про сумку, ищет пакет с документами. Все самое важное она собрала в полиэтиленовый пакет – там деньги, пропуск в поликлинику, паспорт, папины фотокарточки, документы, в том числе отцово свидетельство о пятидесятилетнем стаже в партии.

Этот пакет она убирает то в сервант, то под подушку, то еще куда-то. Потом ходит, ищет. Я тоже ищу. К вечеру находим мешок. Я забираю его к себе в комнату, говорю, что может потребоваться пропуск в поликлинику или паспорт. Обещаю убрать пакет к себе в стол и отдать при первой необходимости. Вроде, обо всем договорились, укладываю ее спать, ложусь сам в своей комнате. Среди ночи приходит и чуть не плачет.

– Сашочек, верни мне мой паспорт, как же я без него? Ведь мне пенсию мою без него не дадут. И отцовы карточки отдай.

Встаю, лезу в стол, отдаю документы, провожаю мать к ней в комнату. Она кладет мешок под подушку, ложится; кажется, засыпает.

На следующий день все сначала. Ищем мешок, перетряхиваем ее постель, смотрим в пододеяльнике – мать довольна, что я ей помогаю. Говорит, что без меня точно не найдет.

Вспоминаю, как мы с ней когда-то искали друг друга на Гоголевском бульваре. Мне годика три-четыре (я поздний ребенок, маме уже за сорок). Водим по очереди: сначала мама, потом я. Хожу, ищу ее и никак не могу найти. Она спряталась за одним из бронзовых львов, что сидят в основании фонарных столбов в окружении памятника Николаю Васильевичу.

Через много лет услышал от нее, что спугнул ее тогда какой-то мужчина, остановился рядом и шепотом спросил: «Не разучились еще в прятки играть?». Мама смутилась, встала, выдавая себя с головой, а я обрадовался и нашел ее наконец.

А как я прятался от нее, когда был постарше?! Мы долго любили эту игру. Вернее, она не пряталась, конечно. Прятался я и просил ее меня найти. Уж лет тринадцать мне было, большой совсем – все мне хотелось мать обыграть. Один раз я вынул из тумбы папиного письменного стола все ящики и перенес их в чулан, а сам залез в одну из тумб и там схоронился. Я был уверен, что трюк сработает на все сто. Матери, конечно, не пришло в голову искать меня внутри письмен-

ного стола, но она нашла ящики в чулане и вычислила мое убежище.

Я спрашиваю маму, помнит ли она, как я от нее прятался, – оказывается, она все помнит. Про папин стол, про ящики в чулане, и про сумку с мылом.

Мы на время оставляем поиски пакета, я иду готовить суп.

Мать, пока я не вижу, норовит подлить или подбросить в суп что-нибудь «чтобы это что-нибудь не пропало».

Она прошла эвакуацию, послевоенный голод в Москве, и обеспеченная жизнь за спиной профессора мужа не изменила некоторых ее привычек. Мать также иногда сметает на ладонь (а потом в рот) крошки, оставшиеся на доске после резки хлеба. В платяном шкафу хранит банки консервов, отложенные на черный день.

Что-то в старости дошло до крайности – продукты она выбрасывает только той степени «несвежести», что реально представляют угрозу для жизни, все остальное старается пустить в ход.

Воспоминаниями о голодных временах она со мной почти не делилась – была, пожалуй, одна фраза: «Ты вот такие времена не застал, а твой старший брат (лет пять ему было) – ходил за мной и повторял: „Мам ну дай хоть сырой картошечки“, – а у меня никакой не было…»

С обедом справились, я помыл посуду и, убирая тарелки, опять нашел мешок с документами. Хотел убрать к себе, но передумал и решил отдать.

Господи, сколько радости!

Мама решает, что ей нужно идти в поликлинику. Поликлиника рядом в конце улицы Рылеева. Идем под ручку, долго, да и куда спешить. Заходим внутрь. Сколько раз водил сюда отца. В гардеробе отец всегда до глубокой старости сам раздевался, сам подавал пальто и неизменно протягивал гардеробщику мелочь. Последнее время, правда, путался: привычные советские двадцать копеек – сколько это стало после перестройки – рубль, два, десять? Впрочем, отец еще и видеть стал плохо, и я старался проследить, чтобы монета «на чай» не оказалось совсем мелкой, обидной для работника раздевалки. Впрочем, переживал я зря, персонал там был тактичный (в том возрасте, когда глубокая старость вызывает понимание и сострадание).

У мамы привычки раздавать мелочь нет, я помогаю ей раздеться, а она тем временем идет читать плакат санпросвет бюллетеня. Я подхожу, читаем вместе, каждый про себя, потом берем медицинскую карточку, талон на прием, и, наконец, приходим в кабинет к терапевту.

Врача мама не знает.

Свой рассказ она начинает с истории про отца, достает мешок с документами, вынимает отцов партбилет, еще какие-то бумаги.

Врач прерывает ее, говорит:

– Все льготы исчезли вместе со смертью Вашего мужа. Вам все это ни к чему.

Врач думает, что мать хочет получить какие-то льготы по документам отца.

Мать этого не понимает. Ее обижает сам факт, что кто-то не хочет смотреть на документы мужа. Тем не менее она говорит:

– Ну, вы на карточку хотя бы посмотрите.

Врач смягчается, смотрит на фотографию. Возвращает бережно.

– Красивый был человек.

Выясняется, что, кроме того, что «мог бы еще пожить, а вот ушел», мама больше ни на что не жалуется, со здоровьем у нее, оказывается, пока всё слава богу.

Выходим из кабинета, садимся в коридоре отдохнуть перед дорогой.

Вспоминаю, как также сидели в детской поликлинике, перед тем как зайти в кабинет к Лидии Марковне. Мне три-четыре, но я уже шустрый. Встаю коленками на жесткий стул, хватаю вилку, которая болтается на шнуре, тяну ее в розетку, мать оглянуться не успела, а на стене уже загорелся деревянный короб с витражами-пленками, где светятся картинки – видно, как белочка идет к доктору на костылях лечить ножку. Хочется, чтобы мама почитала про белочку, но надо идти в кабинет к Лидии Марковне, которая недавно ходила к нам на дом делать мне уколы.

Мама говорит, что Лидия Марковна очень добрая, и хорошо бы ей нарисовать что-нибудь в подарок. Дома у меня уже

слава художника. Вхожу в кабинет, держа в руках сложенный листок, там нарисована сама Лидия Марковна. В жизни она толстая, а на моем портрете длинная и тонкая. Идентифицировать ее можно разве что по шприцу в руке.

Отдаю листок, в надежде на узнавание и одобрение. Лидия Марковна разворачивает лист, смотрит и говорит:

– Это кто же такой, Барамалей?

Я молчу потупившись, что-либо объяснять мне не хочется…

Вновь приезжаю к матери на дежурство почти через месяц – грипповал, потом был в командировке.

Чувствую, что мать сдала – ничего не ищет, не ругается…

Иду на кухню готовить ужин, мать садится рядом, смотрит как я режу капусту и наконец говорит:

– Зачем такая мать нужна, которая даже сына накормить не может?

– Да что ты, – говорю, – это я тебя приехал накормить. Ты вон нас всю жизнь кормила, поила!

Молчит.

Я накрываю на стол, садимся рядом.

Вспоминаю, как мы с мамой ужинали в Купавне в малюсенькой кухоньке под лестницей. Посидеть с мамой в этой каморке под низко висящей желтой лампочкой я любил больше всего. Мы так близко друг к другу, как позволяют стены этого закутка, где может поместиться один человек, максимум полтора. На улице темно, мама разрешает наки-

нуть на дверь крючок, чтобы было совсем безопасно.

Я такой маленький, что почти не занимаю места, но запоминаю абсолютно все. Здесь мамино царство: керосинки, сковородки, чапалки. Из стены торчит медный кран, на кран надет кусок черной резиновой трубки, чтобы направлять струю. Забрызганное керосинками стекло треснуло, и со стороны сада в это стекло головками упираются золотые шары.

До сих пор помню – где что лежит, как пахнет, что представляет собою на ощупь. Я и сейчас все отыскал бы в этой каморке: тут не только кухонная утварь, но и папин инструмент: на нижней полке молоток, клещи, коробка с гвоздями, под полкой обувные щетки.

Зачем эти знания: что где лежит, где заедает фитиль в керосинке? Мне никогда не придется искать или использовать эти вещи – их нет. Давно сгорел чулан. Почему память об этих предметах так долго занимает место в моей голове?

Как и много лет назад мы опять вдвоем на кухне, правда, не в Купавне – в Москве, и уже не мама, а я – мою посуду. В ее руках тарелки ходят ходуном – того гляди разобьются.

Навожу на кухне порядок; мне кажется, мама довольна.

Мне хочется вывести ее погулять.

Она идет даже лучше, чем я мог ожидать. Проходим нашу улицу, сворачиваем на Гоголевский.

Именно сюда меня мама водила в группу к Анне Дмитриевне. Это был такой частный мини детский сад на свежем воздухе. Анне Дмитриевне врачи посоветовали побольше гу-

лять, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, и она решила взять группу дошкольников: хоть и не очень чистый, но воздух, да и деньги – не лишнее подспорье в борьбе с болячками.

Первый раз меня привели – мне еще и двух не было, возраст, когда от мамы я почти не отлеплялся.

Мама воспользовалась моментом, когда воспитательница заговаривала мне зубы (мне дали подержать чью-то лопатку), и побежала по магазинам. Я довольно быстро обнаружил подвох, забегал взглядом по сторонам, и, наконец, закатил страшный рев с причитаниями.

Историю эту я вряд ли хорошо помню сам, скорее – излагаю версию, воссозданную по рассказам старшей сестры, которая часто ее поминала, в том числе в присутствии моих барышень, за которыми я ухаживал в старших классах: «Когда мама вернулась на Гоголевский, вокруг детской группы образовалась немалая толпа зевак – в центре рыдал ребенок, и сквозь плачь прорывался рефрен: «Мамочка, родненькая, и на кого ж ты меня покинула!».

Уже через пару дней я освоился и в эту группу проходил несколько лет вплоть до школы.

Впрочем, уже будучи первоклассником, я нередко ходил на бульвар с мамой за ручку. Я тянул ее вперед, она шла следом.

Вот и через сорок лет мы шли точно так же.

Дошли до места наших «пряталок», свернули на Старый

Арбат. Мать с интересом смотрела на весь тот новый балаган, что здесь развернули в последние годы: художники, танцоры, и самые популярные – чтецы пошлого анекдота, расположившиеся прямо у входа в Вахтанговский.

Прошли магазин, как его папа звал – «Консервный», в котором вместо венгерских компотов и лечо теперь продавались предметы старины и бесконечные матрешки, дошли до Диеты.

Сколько раз мы ходили с мамой в Диету?!

Все воспоминания живы. Как продавщица режет сливочное масло. Большие пласты тонкой струной, кусочки поменьше огромным ножом с длинным, наполовину стесанным многократными заточками лезвием. На весы она кладет сначала тонкую бумажку, потом кусок масла. Дергается стрелка весов. Потом мы с мамой стоим в очереди, чтобы оплатить написанную огрызком карандаша на краю бумажки сумму.

Рядом продается сок на разлив. Он наливается в стакан из больших конусообразных сосудов с краником внизу. Сначала тетенька моет стакан, ставит его верхом на мойку, поворачивает рычажок, в стакан бьет струя, мелочь, которая лежит рядом, вся мокрая от брызг воды.

Я пробовал прозрачный яблочный, матовый грушевый и кислый сливовый.

Бывало правда и так, что маме не хочется тащить меня маяться в очередях. Она ставит мои санки возле магазина и говорит: «Посиди здесь, никуда не уходи». Я обещаю не ухо-

дить. Поодаль на санках сидит и ждет маму какая-то девочка.

Иногда – не так уж часто – по дороге домой мама покупает мне мороженное, наступает полное счастье.

Я только предался воспоминаниям и вдруг слышу:

– Сашок, купи мне мороженное.

Те же места, мороженое, мы просто поменялись ролями.

Оглядываюсь, сморю сквозь толпу, бредущих по Арбату людей, и через некоторое время говорю.

– Что-то я не вижу мороженого.

– Тогда блин, – говорит мама.

Я опять осматриваюсь, и правда, впереди палатка с надписью «Блины», которую я не заметил.

Жидкое тесто продавщица наливает на плоскую поверхность раскаленного диска, ловко ровняет его, вращая деревянный цилиндр. Блин получается тонкий, нежный, внутрь продавщица-пекарь заворачивает малиновый джем.

Руки у мамы так дрожат, что варенье выступает наружу, размазывается по губам и щеке. Мы возвращаемся в медленно текущую толпу. На ходу мама вытирает рот жесткой бумажкой, которую дали в палатке. Потом комкает ее и то ли бросает, то ли роняет под ноги. Мне хочется поднять бумажку, но я поддерживаю мать под руку, момент упущен, идем дальше…

Совершив немалый круг, выходим вновь на улицу Рылеева, только с другой стороны, возвращаемся в наш двор. и тут мать говорит:

– Мороженое так и не купил!

Мне жаль, что не удалось выполнить ее просьбу. Я знаю, что на углу Староконюшенного и Рылеева в бывшей булочной теперь продается почти все, включая мороженное. Маму тащить так далеко не хочется.

Сажаю ее во дворе на ящик и спрашиваю почти так же строго, как когда-то она меня:

– Никуда не уйдешь?

– Куда я без тебя, – послушно отвечает она. – Не уйду, не уйду. Шоколадное купи…

Добегаю до знакомой с детства булочной. Уже в первом классе мать посылала меня сюда за хлебом. Хлеб в торговый зал подавали из смежной комнаты, клали его на наклонную плоскость, так что булки по семь копеек и четвертинки черного по пять съезжали из подсобки прямо к покупателям. На верёвке висела вилка, которой можно было трогать хлеб – мягкий он или нет. Теперь вилки нет, и цены другие, зато кроме хлеба есть шоколадное мороженное.

Через десять минут прихожу с мороженым – с ее любимым – шоколадным.

Мать любит сладкое. Отец, пока был жив, все пытался заставить ее соблюдать диету, говорил про диабет, холестерин, бляшки. Мать холестерин никогда не волновал. Если ее и волновало здоровье, то не свое: отцово или мое, – про собственные болячки, кажется, и не думала никогда, и, уж точно, не говорила.

Мать ест не то чтобы жадно – скорее, как-то по детски, будто опасаясь, что в любой момент могут сказать: «Ну все на сегодня хватит. Надо же и на завтра оставить!», – и придется подчиниться. Но я молчу, не тороплюсь, даю доесть мороженое, достаю платок, вытираю ей рот. Щека остается грязной, мне приходится послюнявить край платка и оттереть шоколад.

Входим в подъезд, тот же запах, мама идет впереди, я следом в ее темпе – четыре этажа без лифта не пустяк, мне они когда-то тоже давались нелегко.

Приходим домой – мать совсем устала, кружится голова, – пора укладываться.

На днях она упала во сне с кровати. Слава богу – обошлось.

Ставлю вдоль ее кровати два стула, сажусь на один, она берет меня за руку.

Когда-то я не мог заснуть, если не держал ее руку, теперь ей хочется подержать мою.

То, как она держит меня за руку, опять рождает ранние воспоминания: мы на даче вдвоем, мне годика три. Видимо, ранняя весна, потому что в доме сыро и прохладно. Я лежу под холодным одеялом. Мама топит камин, потом тоже ложится. Кровати (матрасы на ножках) стоят напротив камина друг другу впритык, но высота у них разная. Мой немного ниже, чем мамин. В комнате темно, от камина на предметах отблески… Тревожно. Я закрываю глаза, но сон не идет,

прошу, чтобы она протянула мне руку. Держусь за ручку, согреваюсь. Вдруг мама переворачивается на другой бок и забирает руку. Лежу-лежу – сон не идет, вновь прошу: «Мам, дай ручку». Маме не хочется поворачиваться, она закидывает руку за спину – наверное, ей не удобно, – я об этом не думаю, хватаюсь за руку и наконец засыпаю…

И вот теперь все опять повторяется: держу ее за руку, стараюсь не менять позу; кажется, мать засыпает…

Есть предчувствие, что она не долго задержится здесь, потеряв отца, и хочется жить этим моментом, моментом, когда я держу ее за руку.

2017

Витенька

В этот день меня перевели в общую палату, – значит посчитали, что пошел на поправку.

До этого я пролежал неделю в небольшой комнатке, переделанной из процедурной в палату, как я потом догадался по ее размерам и по тому, что почти до потолка вся она была выложена белым кафелем. Места в больнице не хватало, народ лежал и в спортивном уголке под шведской стенкой, и просто в коридоре. Каморку-палату мы делили с профессором, разбитым тяжелым инсультом. У меня был гипертонический криз с подозрением на инсульт, но, к счастью, подозрение это не оправдалось, и после всех моих мучений я

пребывал почти в счастливом состоянии духа.

В новой палате было удивительно просторно, несмотря на то, что со мной лежало еще пять человек.

Я бы не назвал обитателей палаты выздоравливающими, выздоравливающими они числились скорее по времени пребывания здесь. Все, что могли для них сделать, уже сделали, и в разной степени тяжести им предстояло отправиться в ближайшее время домой, кому своим ходом, кому в инвалидной коляске. Все они, включая меня, должны были покинуть эту большую светлую комнату и освободить койку для новых пациентов.

Я осматривался на новом месте. У стены лежал молодой мужчина лет сорока с черными, без единого седого, волосами, обе его руки были под одеялом, возле него хлопотала жена или подруга. Она покормила его с ложечки, вытерла ему рот и только после того, как покормила, принялась наводить красоту, протерла влажной салфеткой лицо и водила по уже и без того выбритым щекам электрической бритвой. Мужчина кривился и тихо почти не слышно повторял.

– Отстань дура, достала уже.

Женщина не возмущалась, не обижалась, не удивлялась, не прерывала своего занятия.

Лысоватый мужчина лет шестидесяти, что лежал рядом, тоже общался со своей половиной. Лысый лежал смирно, так что понять, в какой степени он был парализован, было невозможно. Впрочем, рот он явно мог открывать сам, без посто-

ронней помощи, что я мог понять по его общению с женой. То, что это была жена, сомнений не возникало.

Жена покопалась в таблетках, видимо собрала нужный набор в пригоршню и скомандовала:

– Открывай рот!

– Что там? – с вялым интересом спросил лысый. – Желтенькую положила?

– Он еще будет, паразит, спрашивать. Ни рукой, ни ногой пошевелить не может, так нет, ему мало, ему нужно меня проконтролировать. Все, дорогой, приехали, хватит уже. Накомандовался. Ты теперь будешь МЕНЯ слушать, пить, что я тебе даю, скажи спасибо, что я сюда мотаюсь каждый день. Что я даю? – не унималась женщина. – Я даю то, что тебе доктор прописал. Будешь пить и желтенькую, и красненькую, и какую я давать буду.

Лысый соглашался.

Я еще некоторое время наблюдал обитателей и их «ухажёров», потом походил по коридору. Кроме легкого головокружения, все было на месте: слушалось, двигалось, работало, я мог сам дойти до туалета, спустить штаны, это ли не счастье?! Когда я вернулся в палату, посетители разошлись, обитатели утихомирились, кто-то спал, кто-то лежал молча. И тут послышалось – жалобно, старческим дребезжащим голосом:

– Витенька! Сынок! И когда уже ты придешь за мной? Сил моих тут лежать больше нет никаких. Витенька, бок болит

и тоска такая смертная, Витенька. Забрал бы ты уже меня домой, я бы у окна сидел, у окна, Витенька, сынок, забери ты меня, старика, отсюда, сил моих больше нет.

Было такое ощущение что старик находится в некотором трансе и читает свой бесконечный монолог как молитву, обращаясь то ли к Витеньке, то ли к ему одному видимому собеседнику.

– Ну завел свою песню, – сказал лысый, поворачиваясь на другой бок. Потом приподнялся на локте здоровой руки, посмотрел в мою сторону и сообщил:

– Это у нас местная проповедь. Раз завел – теперь на час, не меньше, будет сына своего звать. Только никто его не видел этого Витеньку.

Что-то лысый еще сказал почти шепотом себе под нос и опять лег, видимо пытаясь заснуть.

– Господи, и за что ты меня наказал?! Сколько мне терпеть еще? Господи, ты не видишь, что ли – нет моего терпения, уж прибрал бы ты меня, не мучил так! – опять затянул старик.

Высказав последнюю фразу, старик тихо, почти неслышно, всхлипнул и замолчал. Лежал, видимо, о чем-то думал. И потом начал опять немного другим тоном:

– Прости, господи, дурака. До 82-х лет ходил на своих ногах по твоей милости. Ни болезней не знал, ни нужды большой. Жаль вот только, что старуха моя померла, с ней-то веселей было. Прости, Господи, много чего хорошего было. Просто тяжко мне здесь лежать. Рука опять же, одна совсем

не слушается, а другая болит, ложку почти не держит.

Старик еще помолчал и опять перешел на диалог с Витенькой:

– Витенька, сынок, забери ты меня старика, Христом Богом тебя прошу!

Народ в палате уже не роптал, что толку, все привыкли к монологам.

И тут отворилась дверь, и на пороге оказался Витенька. Все сразу поняли, что это он. Витеньке было на вид лет сорок. Худоба, щетина и выражение глаз выдавали запойного алкоголика.

Витенька всех осмотрел, нашел глазами старика, пошел в его угол.

Старик увидел сына, схватился здоровой рукой за трубу спинки спинку кровати, пытаясь вытянуть свое здоровое (по размерам) больное тело повыше, чтобы увидеть сына.

– Витенька, отойди, дай я на тебя погляжу, – сказал старик.

Сын сделал шаг назад, постоял, потом присел на кровать. Помолчали.

Наконец старик сказал:

– Возьми поешь – там на стуле, я не хочу.

Витенька ел кашу, больничную невкусную, ел жадно, смотрел в тарелку, как будто ему было стыдно смотреть в глаза окружающим, а может быть, просто давно ничего не ел.

– Возьми еще там печение есть, мне такое нельзя, – сказал отец.

– Йогурт тебе тоже нельзя? – спросил сын, протягивая руку к стаканчику йогурта, стоявшему на тумбочке.

– Почему, Витенька?! Йогурт мне можно, – сказал старик.

– Извини отец, я не знал, – сказал Витенька, ставя стаканчик на место, – я думал, тебе нельзя.

Витенька доел кашу, посидел еще немного и ушел.

В палате было тихо, хотя никто не спал, и старик лежал молча, смотрел в потолок, вздыхал, никого не донимал своей болтовней, не разговаривал ни с Витенькой, ни с Богом.

2018

Голоса птиц, запахи с поля и ощущение счастья

Давно, или даже никогда не делился вот так со всеми накатившим счастьем! А вот теперь поделюсь…

Проснулся в шесть часов в деревянном доме в местечке неподалеку от Мелихово, (где усадьба Чехова). В комнате холодно, дверь в сад настежь, и выстудило, как ранней весной. На террасе велосипед – велосипед, кстати, хороший и новый совсем, мелкая деталь, но все-таки не лишняя. Выкатил за калиточку, через лесок проехал и на шоссе.

Обычно там машины, машины, машины. А тут никого!

Вообще никого – пусто. Справа лес, слева поле, на горизонте храм, маленький совсем, далеко потому что. И солнце встает, а шоссе такое длинное, ну прямо как у Билла Гейтса на обложке, а может и длиннее.

И ты на педали жмешь, а велосипед едет, ты жмешь, а он ускоряется, это хоть и не противоречит законам физики, а все равно здорово!

Шины о шоссе шуршат, в ушах ветер шумит и все это ш-ш-шикарно!

Если кто знает – при подъезде к деревеньке Попово спуск – ну почти как на гигантском слаломе. В другой раз притормозил бы, конечно… А тут – поскольку на трассе ни души, и спуск, вроде, просматривается – несешься вниз и думаешь: «Вот же старый дурак!» – и чуть-чуть подкручиваешь при этом.

Потом долетел до точки перегиба и этак замерло внутри, а отпустило, когда видно стало, что поворот внизу тоже свободен и спуск к мосту просматривается, и дальше можно не тормозить. Скорость сама спала, проехал мостик, стал замечать все вокруг, кусты, деревья, поле, пионерлагерь. Всего много: и простора, и воздуха и зелени, а людей нет, все спят. Дальше по ходу еще поселочек, рабочий люд на шоссе выходит. И так их мало, что с каждым поздороваться можно.

А солнце все поднимается, все оглядывает, и я все это вижу, птиц слышу, чувствую, как ветер дует в лицо и запахи с поля доносит.

А потом вдруг места незнакомые пошли, даже дорогу стал пытаться запомнить. И вдруг еще чуть проехал и глядь: «Ба-а-а! Да это же вот где!» И точно. Поле знакомое, и вот он храм открывается.

Храм в окружении высоченных лип. Так что белые стены сквозь деревья видны, а купол почти весь в зелени. И перед храмом луг из разнотравья. Каждая былинка на своем ярусе. Внизу все зеленое, повыше цикорий сине-фиолетовый, а над ним сурепка кружевная желтая. Смотрю на это, и не верится, что такая красота из этих травок собирается. Сошел с велосипеда, перекрестился на храм и говорю себе: «Господи! Счастье-то какое!» И опять покатил по шоссе. Доехал до поля клевера, а там в поле тропинка к остановке протоптана. Свернул на тропку, сошел с велосипеда, под ногами клевер и люцерна.

В поселок въехал – оказывается, еще никто не проснулся, спят. Только кот здоровый дымчатый выскочил из-под забора мне навстречу, развернулся и от меня по дороге побежал. Нет бы в сторону свернуть, нет, улепетывает по прямой, может, соревнуется – кто его знает.

Дома все более знакомые, и, наконец, мой.

Жена, конечно, спит, все спят…

А у меня кадры моей поездки перед глазами, голоса птиц, запахи с поля и ощущение счастья.

2018

Друзья?

Света, Мишкина жена, позвонила и сказала ровным голосом:

– Я знаю, вы с Мишей были друзьями, если сможете, приезжайте на похороны и к нам на поминки, я обзваниваю всех его друзей.

Что-то екнуло внутри: Мишка!

– Когда? – спросил я.

– Три дня назад, сердце, – объяснила Света.

– Трудно поверить, – сказал я дежурную фразу, потом говорил что-то еще, понимая, что никуда не поеду. Видеть Свету и сына, о котором мне рассказал Мишка, не хотелось. Родственников я его не знал, общих знакомых у нас почти не было. «Чужие мне люди, о чем я с ними буду говорить? – оправдывался перед собой я. – Да и с Мишкой нельзя сказать, что мы были друзьями. За последние двадцать лет виделись всего несколько раз».

Познакомились мы в первой и для него, и для меня заграничной туристической поездке (в Югославию), обоим было за сорок. Он и я ехали в одиночку, без жен, разговорились в автобусе. Он и я доценты на кафедре, шли по жизни одними коридорами в разных концах Москвы, встретились в Югославии. Заселили нас тогда очень поздно в двухместный номер с огромной двуспальной кроватью. Лежали каж-

дый со своего краешка. «По армейским нормам вполне третьего можно положить», – шутил Мишка.

На следующий день номер «для пары» поменяли на комнату, где было две раздельные кровати. Десять дней держались друг друга в чужой «почти капиталистической» стране. Пожалуй, тогда мы и правда были друзьями. Было о чем поговорить. Мишка больше рассказывал о себе, чем я, ему нужно было выговориться, он тогда уходил от жены, видимо, сильно переживал и, если вместе выпивали, неизменно скатывался на волновавшую его тему.

– Ну вот представь, – говорил он еще твердым, но уже с повышенно тщательной артикуляцией голосом, – они вместе любили кататься на лыжах, потом она на лыжах кататься разлюбила, лыжи выбросила, то есть она вообще забыла про лыжи. А он хочет кататься. Он что, значит, должен забросить лыжи из солидарности? Мне с ней интересно говорить, мы близкие люди, я от нее уходить не собираюсь, у нас общий сын, интересы, друзья. Но, ты понимаешь, ей секс со мной и, как я понимаю, секс вообще, как занятие, не интересен. Она говорит, что перестала понимать, что в этих странных телодвижениях находят люди? Это как?

Мишка пил тогда чуть больше, чем стоило, и, если бы не был приятным и деликатным по природе парнем, наверное, это бы меня раздражало, а так – нет… Наверное, именно так и бывает с друзьями.

Мы, естественно, обменялись телефонами, пару раз виде-

лись в тот год, я даже был у него в гостях. Оказалось, что у нас и по работе были пересечения. Мы оба программировали на фортране, писали библиотеки для прочностных расчетов. Мишка был хорошим инженером, хорошим программистом и щедрым человеком. Дарил мне подборки своих подпрограмм. Говорил, что не уверен в успехе своих изысканий, не факт, что доведет свою «задачку» до ума, а так его подпрограммы будут где-то работать и приносить пользу.

Потом лет пять мы не виделись. Совершенно неожиданно Мишка позвонил накануне моего пятидесятилетия, поздравил, и я пригласил его отметить в компанию, где он никого не знал.

Мишка быстро освоился, всем понравился, и женщины за столом, улыбаясь, спрашивали, почему я скрывал от всех такого замечательного своего друга.

Мишка тогда изрядно выпил, но не перебрал, долго говорил тост о том, какой я хороший и даже лучше, чем он, человек. Шутил на грани фола, рассказывал, какой я примерный семьянин. Вспоминал нашу поездку и уверял, что за десять дней нашего совместного проживания я не проявлял интереса не только к женскому, но и к мужскому полу, даже на шикарной двуспальной кровати.

Пару лет спустя Мишка пригласил меня отметить его «полтинник» у него на даче. Я приехал без жены, ей не хотелось тащиться в такую даль к малознакомому человеку.

Мишка к тому времени, оказывается, уже несколько лет

как развелся со Светой и был с некоей Леночкой, видимо, ровесницей его сына. Юбиляр молодился, и это ему удавалось. Он был душой небольшой компании, разжигал костер, дул на угли, жарил шашлыки, потом неплохо играл на гитаре, пел какие-то малоизвестные песни.

Запомнился мелкий эпизод на той даче. Мишка нес два больших ведра через участок от колодца в дом, нес тяжелую ношу с прямой спиной и улыбкой на лице мимо компании, сидящей у костра, а когда поднялся на террасу, где стоял я, сбросил улыбку, выпрямился и долго разминал поясницу. На меня он почему-то не хотел произвести впечатление, наверное считал, что мы были друзьями.

Потом мы ходили с ним в ближайший лесок за дровами для печки. В двух словах он тогда сообщил, что ушел от жены, что Света потом долго болела, что наладить добрые отношения они не смогли и почти не видятся.

После той поездки лет пять мы не пересекались. Перезванивались пару раз, я слышал, что сын его женился, и у него появился внук. Мишка жаловался, что с внуком видеться почти не получается, посетовал, что парень, мол, выдал как-то при встрече: «У меня есть мой дедушка и деда Миша».

А вот за последний год я видел Мишку два раза. Недели через две после нового года Мишка позвонил и попросил приехать, сказал, что болен, что нужна помощь и вообще надо поговорить.

Жил он теперь в другом месте, назвал адрес. Ехать при-

шлось до Новогиреево на электричке, там на автобусе и минут десять пешком. В проходной комнате было много хлама, по центру угадывался протоптанный путь, выделяющийся отсутствием под ногами пыли. В дальней комнате лежал Мишка, как выяснилось, с воспалением легких. Вторую неделю он, оказывается, выздоравливал, но идти в аптеку и в магазин не было сил. Возможно, раньше он просил кого-то еще, а теперь вот позвонил мне.

Я сходил в аптеку, купил нужные лекарства, зашел в продовольственный – взял колбасы, сыра, и всего остального, что попало под руку. Соорудил чай, накрыл на двух стульях «поляну» возле Мишкиной кровати. Мишка повеселел.

Говорили обо всем, наконец я спросил его прямо:

– Где же твоя Леночка, кто ухаживает вообще за тобой? Воспаление легких – не шутка!

– Да, Леночка была как следует, ты ее помнишь? – спросил он с гордой кривоватой улыбкой, выдающей боль в боку. – Хорошая была Леночка, любила это дело. Потом еще у меня другая была, – хорохорился Мишка, – аспирантка, кстати ужасно любила тетрис. Мы проверяли, сможет ли она не сбиться – собрать эти самые терамино в стакан, пока я буду отвлекать ее сзади, – хвалился Мишка интимными подробностями. И, продолжая свои мысли вслух, добавил:

– Я тут встретил Валерку, ты помнишь его, он был тогда на моем дне рождения, он, представляешь, в третий раз развелся и объяснил мне очень доходчиво, кстати, почему: «по-

тому что каждая последующая на поверку оказывается чуть-чуть хуже, чем предыдущая». Это точно.

– А Света?

– Она не в курсе, – сказал Мишка. – У меня на нее тоже остались обиды. Мы про развод говорили давно и, вроде, все решили. Я тогда уехал хоронить мать, задержался в Воронеже почти на месяц: сначала похороны, потом хлопоты, кое-какой памятник справил, – а вернулся, узнал, что она как-то оформила все без меня. Без меня, когда я хоронил мать, как это – по-людски?

– А сын?

– Ты понимаешь, ситуация не самая крайняя. Ну воспаление легких, могу сам вызвать скорую, тебе могу позвонить, друзьям. А с сыном не просто, опять же обиды и всякое такое. Нет, я могу ему позвонить, но как бы тебе объяснить, я, наверное, просто боюсь.

– Чего? – не понял я.

– Ты понимаешь, я ему позвоню, скажу, что я болен, что надо бы приехать, а он например, скажет, что сейчас очень неудобно, и что может приехать только если что-то серьезное. А я скажу, что все не так серьезно, и буду думать, что сына у меня нет. А так у меня есть сын, внук, понимаешь?

Последний раз Мишка позвонил полгода назад, рано, примерно в десять утра, попросил приехать на Гоголевский бульвар, сказал, что это важно, что есть проект исключительно для специалиста моего уровня, – чувствовалось, что он

уже слегка выпил.

Зашли в кафе. Мишка рассказывал, что у него появились большие связи в министерстве, чего за ним никогда не водилось. Я отказался от водки, ссылаясь на то, что сегодня еще надо работать, взяли какой-то закуски. Мишка часто наливал в мелкую рюмку, рассказывал про каких-то англичан, про то, что у нас никто не оценил его по достоинству, а англичане, англичане – они оценили и его, и некоторые его идеи. И что поехать на какой-то симпозиум он хочет обязательно со мной, потому что, во-первых, я его друг, потом – мы работали одно время вместе в этой области, потом – и с английским я, несомненно, смогу ему помочь. Мишка долил тогда содержимое в стакан и сказал свою главную мысль: «А главное, почему я хочу с тобой ехать к англичанам, – потому что ты хороший парень!». Так что расстались мы точно друзьями.

2018

Сострадание

Есть досадное и трудно объяснимое сострадание, которое наш народ питает к пьяницам, и которое оборачивается удивительной безжалостностью.

Нет, это не просто сострадание, это какое-то любование, бравада, даже национальная гордость, если хотите. Столько от алкоголиков бед, семей порушенных, брошенных детей,

сколько смертей нелепых и ранних. А в народе все равно: «не пьет – значит не мужик».

Да что я говорю, и без меня прекрасно знаете. Сам я такие истории слышал, внутри себя улыбался и другим пересказывал. Вот одна из таких.

Привезли в один поселочек сруб, дом поставить. Доставил его водитель трейлера до съезда на грунтовую дорогу, посмотрел на развороченную глину да разливанные лужи, понял, что завязнет здесь с тяжелым грузом, и пошел пешком искать хозяев.

Через час где-то вернулся с владельцами сруба и их соседями. Все стали увещевать водителя, объяснять, что лужи местные только с виду глубокие, на самом деле тут любой шофер за десять минут доедет и ни разу не забуксует.

Водитель трейлера стоял на своем.

И тут кто-то предложил сбегать за Лешкой, который за две «пол-литры» решит вопрос непременно. Приехал Лешка на своем грузовике, друзья его подошли, помогли бревна перекинуть. Хозяева тем временем в магазин сбегали.

Лешка взял бутылку, сорвал крышечку, крутанул содержимое, и на восхищение собравшимся вылил все, что там было, в свое молодое горло.

А потом как ни в чем не бывало сел за руль и поехал.

Народ, понятное дело, начал спорить – пройдет «наш» или застрянет.

Парень лихой, и, видать, с опытом езды по этой местно-

сти. Пошел как по трассе в слаломе. И что важно, общее направление на поселок уверенно держит.

Местные жители уже, оказывается, в курсе, уже повыскакивали из своих домов на улицу, ждут: не каждый день бесплатное представление – тут тебе и дураки, и дороги, все «в одном флаконе».

Из углового дома генерал вышел. Стоит на сухой кочке, смотрит на приближающийся груз, руками что-то показывает, поучает, видимо, как возле его забора проехать лучше следует.

Генерал боевой, ничего не боится, привык к танкам на учениях. Знает, что едет такая махина на тебя, и вдруг раз – по жесту командира встает как вкопанная.

Потом народ гадал спорил – был генерал на сухой кочке, или не было его совсем (сидел в укрытии). Один очевидец, правда, рассказал, что генерал точно был и даже успел крикнуть «стоп», потом взвизгнул по бабьи и спасся чудом – «ушел по воде». Пролет же генеральского забора подкачал, непрочный оказался – хрустнул словно палка в руках и лег, как битая карта на стол.

А красавец наш пошел-пошел, легко, непринужденно: в одну сторону руль крутанёт – кажись, всё, в кювете, ан нет, в последнюю секунду вырулит, ну, может, пару жердин из забора выхватит, а то и в миллиметре пройдет. Потом еще вираж, и из противоположного забора всего две-три доски заденет, не более. И так по всей дороге. Никого не пропустил,

везде отметился.

Как Леша проехал мимо, все немного осмелели, выскочили каждый из своего укрытия. А хозяева у нас какие, за свое добро удавятся, ну и озверели, конечно. Высыпали на дорогу, галдят, вооружаются кто чем – кто палкой, кто жердью выломанной, и бегом за слаломистом. Машина тем временем до конца улицы доехала, возле нужного места встала и стоит.

Мужики подбежали, и хотите верьте хотите нет, герой не то чтобы смылся из кабины, не то чтобы сидит, втянув голову в плечи, не то чтобы прикрылся руками и молит о пощаде, все не то. Он руки уронил, голову запрокинул, шею под топор подставил, и не храпит, а чисто так дышит, и на лице его молодом улыбка блуждает светлая, ангельская. Народ оторопел на какое-то время: не бить же спящего! И кто-то вовремя сказал: «Что с пьяного возьмешь, он и не почувствует ничего!» – пусть, мол, проспится. Все с облегчением согласились.

Спал Леша весь оставшийся день и до следующего утра. К тому времени ни у кого запала не осталось. Отходчивый народ, с пониманием, да и заборы к тому времени починили. А парень, кстати, совестливый оказался, грузовик щебенки на следующий день привез, спер где-то на соседней стройке, своим не пожалел, можно сказать от сердца оторвал. Лужи присыпал, так его потом добрым словом не раз поминали. Ходили по сухому и шептались пересказывали, как генерал местный прыгает смешно, улыбались.

А вот еще история про такого же парня почти, правда, не водителя, а скорее строителя. Был в деревеньке парень один, может и не парень – а мужик – здоровый, под два метра, ростом и силой его бог не обидел. Строитель – не строитель, самоучка, мастеровой мужик. И избы ставил, и так – что кому помочь. Работал в разных бригадах, но по причине пристрастия к спиртному в шарашки его брать перестали, жил в своей избе один, что-то мастерил, когда не пьян, помогал соседям за мелкую монету, можно сказать, нищенствовал.

Время бежит, меняется, стали в из??? той деревне людишки уходить, дома продавать, стали городские приезжать, покупать участки под дачи, ставить коттеджи, не похожие на местные избы. Появились в деревеньке два корейца, ловко ставили они типовые щитовые домики – внутри вагонка, потом утеплитель, ДВП, снаружи сайдинг пластиковый. Сборка всего две недели. Как из детского конструктора клепают, а дом прочный получается, и тепло держит, как термос. Да еще и сайдинг «под кирпич», такой, что и на трезвый глаз не отличишь – какой на самом деле дом: каменный, или фанерный.

Видать, корейцам (а сами они щуплые на вид) вдвоём все-таки не так легко стройка давалась, приглядели они местного Ваню, прикинули, какой «подъемный кран» у них тут под боком простаивает, и пригласили в бригаду. Силу мужика корейцы быстро оценили и говорят ему – мол взять тебя

возьмем, но пообещать тебе придется, что во время работы «ни капли». Ваня наш на условия поставленные согласился, ни в чем начальникам не перечил, хотя сайдинг невзлюбил. Даже пару раз в полголоса высказывался, что мол «пакость эта ни для души, ни для красоты непригодная».

Две недели прошли, Ваня трезвый отходил весь срок, дом закончили, и так оно получилось, что сработались вроде как с новым членом команды, и событие это отметить можно. Корейцы, как оказалось, в выходной день отметить не против.

Сели в новом доме, выпили, закусили. И тут наш Ваня такой разговор повел, что все эти фанерные хибары – ничто супротив бревенчатой избы. Что все это баловство, и для русского человека вовсе не годится. Если бы корейцы не выпили, то вряд ли бы стали спорить, а тут ударили по рукам, что нельзя такую стенку многослойную кулаком прошибить.

И напрасно, кстати, поспорили… Для всех затея боком вышла – и для хозяев, и для корейцев, и для Вани, кстати, в первую очередь. Выплатить ему пришлось из своей зарплаты на новый комплект материала. Потому как все в том доме рассчитано, экономично, практично – ничего лишнего.

Стенка, и впрямь, прочной оказалось, не смог ее Ваня прошибить, проиграл спор! Стенка слегка совсем вперед подалась. Крыша с какого-то паза соскочила, стеклопакеты хрустнули, выпучились наружу, сайдинг скрючился, пошел хлопунами. Уж как ни вправляли потом все назад, а паззл

тот, видать, два раза не сложишь… Разбирать пришлось.

Я рассказал вам эти две истории почти так же задорно, как услышал, не без некоторой бравады и гордости за обоих.

Где сейчас эти наши мужики? Дожили до сорока пяти? Что-то слабо верится, что взялись за ум или успешно прошли лечение где-нибудь в реабилитационном центре, у хорошего психолога.

Один, наверное, разбился по пьяни. Второй пролежал где-нибудь под забором на снегу, отморозил ноги и внутренности и не то чтобы стенку проломить, молоток в руках держать не может, стоит возле вокзала с кепкой в руке, или хуже того – выкатывают его в инвалидной коляске с отнятыми ногами в камуфляжной форме к прибывающей электричке: авось кто подаст нашему герою Ване.

2018

Таинственная незнакомка

Иван Петрович проснулся в своей комнате еще до того, как прозвенел будильник. Весна чувствовалась по тому, как посветлело в час пробуждения по будильнику. На работу он ходил каждый день, до пенсионера еще не дослужился, хотя на кассе его все чаще спрашивали: «мужчина, социальная карта есть?»

Пробуждался Иван, по обыкновению, один, с женой давно спали в разных комнатах. Открыв глаза, еще некоторое

время разлеживался-раскачивался, сразу встать не мог.

Приподнявшись на локте, Иван обвел взглядом свою комнату – все на своих местах: одежный шкаф, лавки с цветами, торшер, кресло… И вдруг с ужасом понял, что в его кресле у окна сидит пожилая женщина, подперев голову кулачком, и смотрит в окно на светлеющее пространство.

Иван почти лишился дара речи, судорожно пытаясь найти объяснение видению.

– Может быть, подруга жены, – крутились мысли, – пришла поздно, когда я уже спал, осталась ночевать.

И что это за подруга? Почему он ее никогда раньше не видел? Если ночевала у нас, то, наверное, в комнате жены, у него-то что делает? Может ему все это чудится? Может, это сон?

Иван, наконец, справился с оцепенением и неверным голосом спросил:

– Вы кто? Что здесь делаете?

На первую часть вопроса женщина не ответила, а сразу перешла ко второй. Голос у нее был настолько спокойный, будто это она сидела у себя дома, а он, Иван, был в гостях.

– Буду смотреть, как Петька с шестого этажа в школу идет. Отсюда видно хорошо, как он выходит из подъезда. Больше пока никого на улице нет, на лавочке у подъезда пусто, – сообщила она.

– Может, сумасшедшая просто. Жена вечно дверь на лестничную площадку запереть забывает. Эта полоумная пере-

путала что-то, приехала на наш этаж, повернула ручку, вошла в квартиру, я спал, когда она прошла в мою комнату, села в кресло, прикорнула… Сколько раз говорил жене: «Запирай двери!» Нет, ерунда, не может такого быть!

Женщина меж тем продолжала отвечать на заданный вопрос.

– Потом голубей буду кормить на балконе, надо нам с тобой там кормушку наладить. У меня и хлебушек с собой есть, – ворковала, как голубь, женщина.

Вместо хлеба она достала хрустальную конфетницу с кусочками печенья и несколькими леденцами. Развернулась на кресле, поставила вазочку на край лавки с цветком, посмотрела на Ивана и примирительно, почти кокетливо сообщила: «Можешь брать!» Потом еще покопалась в сумке, достала пакетик с вязаньем, разместила его на окне, затем вытащила альбомчик с фотографиями, хотела тоже положить на окно, но передумала, раскрыла, стала что-то разглядывать и притихла.

Иван ждал, не решаясь встать, стесняясь своего кальсонного вида, и выяснить у жены, откуда взялась эта старушка, почему раскладывает здесь свои причиндалы. Старушка меж тем оглядела комнату и вдруг объявила:

– Вот здесь у окна поставим мне диванчик, места он много не займет. Придвинем вот сюда торшер, я люблю перед сном кроссворды разгадывать и книги читать. У меня любимых две, одна про астрономию, другая про космонавтов.

– Какой диван? – не выдержал Иван

– Тебе что, места жалко? – укоризненно посмотрела на него женщина. – Ты глянь, сколько у тебя места! Да ты бы сюда слона мог поселить, а не то что такую маленькую женщину, как я. С тебя что, убудет? Можно подумать, ты здесь в футбол гонять собираешься?!

Вдруг она сменила тон и более дружелюбно добавила:

– Неужели мы тут с тобой не разместимся, еще как уютно станет, я тебе фотографии свои буду по вечерам показывать… Могу вслух про космонавтов почитать.

Иван поймал себя на мысли, что, несмотря на то, что недоумение осталось, страх начал уходить. Он ответил мягче, в тон старушке:

– Не знаю, откуда вы на мою голову свалились, но я вижу, что вы, по крайней мере, не приведение. А то, грешным делом, подумал – уж не «костлявая» ли у окна сидит и меня поджидает?

– Да как тебе не стыдно – скажешь тоже! – возмутилась женщина. – Не похожа я совсем на костлявую. Или, может, ты косу ржавую у меня за спиной увидал?

Сказала грозно, а улыбнулась по-доброму.

– Не бойся, нет у меня косы, вот зато палка есть, прихрамываю я… Но все пока сама, делаю, слава Богу: хожу, себя обслуживаю. Обременять тебя сильно не собираюсь, места много не займу. Так что привыкай, приспосабливайся. А я уж к тебе, кажется, привыкла.

И вдруг, опять повысила голос:

– Это-ж надо, хорош кавалер. За смерть с косой меня он, видите ли, принял! Какая я тебе смерть?!

– А кто же ты?

– А ты разве не понял?! Я твоя старость.

2018

Распятие

В одной семье в детской на стене висело небольшое распятие, к которому, кажется, все привыкли. Однажды вечером мама зашла в детскую пожелать дочке спокойной ночи, хотела погасить ночник и увидела, что на кресте нет Иисуса. Это было дешевое распятие – сам крест был сделан из дерева, а образ Христа выполнен из черного пластика.

Мама поискала пропажу на полу и, не найдя, вышла из комнаты. На следующий день она осмотрела пространство более тщательно и, наконец, спросила дочку, не знает ли та, как это случилось.

Девочка молчала, пряча глаза, мать требовала ответить честно. В конце концов дочка расплакалась и сказала: «Мама, я не виновата, он отклеился сам и упал, я подняла и хотела отдать, но я же знаю, что вы поместите его обратно на крест, мама, сколько же можно висеть на кресте?!» Вытирая слезы, дочь, достала из шкафа коробочку и отдала ее матери. Коробочка была устлана кукольной подстилкой, на ко-

торой, широко раскинув руки, лежал Иисус.

2018

Наташа

Жена вернуться должна сегодня-завтра. Зная об этом, мне наша общая подруга Маша (друг семьи) звонит вчера и говорит:

– Прош, завтра Олька вернется, у тебя небось бардак в квартире жуткий. Тебе все не убрать! Я, когда в замоте и квартиру лень убирать, зову Наташу: человек проверенный – такая шустрая, боевая, делает все с огоньком, потом дома все блестит и радуется. Давай я ее к тебе зашлю, пока Олька не приехала.

Я подумал-подумал и согласился. И буквально только я согласился – звонок телефонный: я, говорит, Наташа, мне все ваша подруга объяснила, Вы мне только адрес и время назовите.

Сегодня встал, зарядку делаю, потом вдруг… Ба-а! Сколько времени?! Через два часа Наташа должна прийти! Осмотрелся я – ну нельзя человека, да к тому же незнакомого, так принимать. Конечно, она придет убираться, но есть вещи, которые перед посторонней женщиной просто неловко демонстрировать. Например, кошачий лоток.

Пошел я в комнату жены, а лоток там стоял. Лоток – это таз такой, в котором много-много наполнителя, и в этом мо-

ре наполнителя за неделю кое-что набралось… Не оставлять же такое Наташе. Нашел я пакет, выловил все лишнее, упаковал, отнес в мусоропровод.

Потом зашел на кухню и подумал, что посуду пора за собой помыть. Все эти засохшие тарелки, сковородки! Придет Наташа, что обо мне подумает?

Помыл тарелки, заодно раковину, слегка плиту, потом начал смахивать пыль… – передумал и оставил пыль Наташе.

В комнате подметать не стал (тоже Наташе), полил, правда, цветы. Посмотрел на кровать и решил застелить. Иначе двусмысленно как-то. Представьте: приходит к вам Наташа, первый раз в жизни приходит, а у вас постель разложена. Короче, убрал, отнес все тапочки в коридор, положил на полку. Странно, откуда столько тапочек?! Никто до Наташи, вроде, не приходил, а под столом три пары тапочек.

Зашел в ванную, посмотрел на себя и решил побриться: неделю не брился! Побрился – даже как-то свежее себя почувствовал. Снял треники, отнес в шкаф, достал джинсы и клетчатую рубашку, причесался. Сварил кофе. Сижу жду! Через полчаса придет Наташа!

2018

Иван Ильич

Случился этот эпизод почти 30 лет назад, когда Ивану Ильичу было чуть больше, чем мне сейчас.

Он сам бесцеремонно открыл калитку на наш участок и скорым шагом, припадая на левую ногу, прошел к дому. Я стоял возле крыльца с маленькими тогда (лет пяти-шести) дочками двойняшками. Они почувствовали негодование зашедшего старика и, как я понял, слегка испугались. Дача у нас тогда только появилась, я, конечно, знал в лицо соседа, мы здоровались, но особо не разговаривали, и на участке у нас он раньше не бывал.

– Скажи мне, пожалуйста, – не поздоровавшись, начал он, и в голосе его чувствовалось агрессивное волнение подвыпившего пожилого человека, – зачем тебе такая трава высокая на участке? Почему не покосил! А берез зачем посадил столько? Тут что тебе. лес?

– А в чем, собственно говоря, дело? – спросил наконец я.

– А то, что траву вдоль забора не косишь, она от тебя ко мне поползёт, деревья подрастут – листья на мой участок осенью полетят. Нам зачем эти участки выделили, как ты думаешь?

Надо еще добавить, что в речь его вплетались матерные словечки, что при моих дочках было совсем неуместно и в общем-то возмутительно.

Девчонки смотрели на старика (он и мне тогда казался стариком – ему за пятьдесят, ближе к 60 – мне в районе тридцати) и, видимо, ждали моей реакции. И хоть я чувствовал, что агрессия эта скорее неприятная, чем опасная, вторжение меня так возмутило, что я не мог разговаривать спокойно,

поддался исходящему от незваного гостя волнению, перешел на ты и, изменяя своему принципу разговаривать со старшими только на «Вы», попросил соседа убраться с моей территории, поскольку его сюда никто не звал и общаться с ним не желает.

Он смерил меня гневным взором, развернулся и на прощание сказал: «Смотри! Сгоришь со своим лесом как швед под Полтавой! Попомни мое слово!»

Что имел в виду этот пьяный старик? Что сухая трава на участке опасна с точки зрения пожара, или что он подожжет ее в один прекрасный день? Это было предостережение, угроза или просто пьяный бред?! Черт его разберет.

Сосед ушел, а я все не мог успокоиться. В принципе я понимал, к чему клонил Иван Ильич: его раздражало, что мы почти ничего не выращиваем, что загораем на своих шести сотках, что садовое товарищество задумано как земля для садоводов, он вот на земле спину гнет, а мы бока греем, да еще и сорняки наши к нему якобы ползут.

– Даже если это садовое товарищество, – рассуждал я про себя, – почему я должен весь свой участок распахать под огород? Я пока работаю, овощи могу и в магазине купить. А здесь хочу, чтобы была тень от деревьев, свежесть от травы, хочу, чтобы место было для отдыха, а не для пахоты. Это моя здесь земля или как? Кто тут порядки устанавливает? Кстати, ни разу не видел, чтобы листья от моих деревьев за забор летели.

Возмущение и чувство опасности от такого соседства не проходило. И я подумал, пусть будет известно, что приходил, угрожал, если это не было шуткой, то будет понимать: если не дай бог что случится, то к нему первому придут. Поразмыслил я так и эдак и пошел к председателю. Тот выслушал, говорит: «Пишите заявление». Я написал, что приходил пьяный, при детях матерился, обещал спалить, так и так, прошу принять меры.

Первое время после того эпизода мы не здоровались, с полгода наверное, но постепенно взаимные обиды и претензии улеглись, я понял, что повода поддерживать конфликт в общем-то нет: ну выпил человек, ну перегнул палку, ну мало ли, бывает. Мне даже самому в какой-то момент стало неловко, что я ходил к председателю, написал кляузу.

грозы, конечно, оказались пустыми, на участок ко мне самовольно сосед больше не приходил. Мы с женой со своей стороны старались не злить пожилого человека. Ольга покосила траву вдоль забора, чтобы убрать семена разнотравья, которые якобы разлетались по ветру. Я спилил ветки осин, которые якобы отбрасывали тень на его посадки. Мы начали здороваться. Поначалу он приветствовал меня нехотя и только по отчеству – «Николаич», а потом перешел на «Саша».

За исключением редких вспышек гнева Иван Ильич был человеком самодостаточным, относительно тихим, друзья или родственники к нему приезжали не часто, хлопот особых от него не было. Он сам боролся за тишину возле наших до-

мов. И, в частности, пытался отвадить подростков, что гоняли возле его (а следовательно, и нашего) участков на мопеде. Он даже соорудил лежачего полицейского, когда асфальтировали нашу дорогу. Но подростков разве остановишь, разве уймешь, продолжали гонять и на великах, и на мопедах, кричать, шуметь. Однажды разгорелся скандал. Видимо, ребята остановились возле его дома и пытались объяснить, что у них есть такие же права на эту улицу, как и у Ивана Ильича. Одному он успел дать подзатыльник, остальные разбежались. Через час пришла мать пострадавшего, она громко кричала, возмущенная тем, что кто-то посмел поднять руку на ее сына.

– С какой стати! – кричала она. – Да и где же им ездить, как не по улице?!

Не берусь судить кто там был прав, кто виноват, да и не видел я, как и с чего разгорелся конфликт. Я слышал только обрывки разговоров. Иван Ильич вышел на встречу мамаше и сказал всего одну фразу: «Что ты орешь, дура!» – и опять ушел к себе в дом.

Мы приноровились к характеру соседа, как-то ладили, давно забыли про нашу ссору и нелепое пророчество, и вспомнили только тогда, когда вдруг случился у нас пожар, и мы сгорели «как шведы под Полтавой».

Бревенчатый дом исчез за час или два, обуглились вокруг деревья, исчез шикарный куст жасмина, который заглядывал к нам в окна. Рядом с фундаментом чернела выжженная зем-

ля, блестели битые стекла, в центре высился остов печной трубы – страшное было зрелище.

Соседа, кстати, в день пожара не было на даче, и к происшествию он, конечно, никакого отношения не имел, причина обнаружилась самая тривиальная – проводка. Я был с утра в душе на противоположном конце участка. Ольга спала в доме. В душевой работал нагреватель воды, провод шел через участок в дом на чердак. Там, собственно говоря, и коротнуло.

Я из душа вышел потому, что погас свет (решил, что отключили свет в поселке). Такое бывало нередко, так что я ни о чем не волновался, вышел раздетый, расслабленный, с полотенцем на плече, иду к дому, смотрю – а там – мама дорогая! – второй этаж полыхает. Где Ольга?! Что с ней?! Бегу к дому, кричу, зову жену на ходу и вдруг – вижу сквозь наш неплотный забор: она на улице посреди дороги стоит, босая, испуганная, в ночной рубашке. Я как увидел ее, у меня все страхи улетучились, думаю: да гори он, этот дом, синим пламенем, подумаешь, добра-то, ведь всякое могло быть, а тут, слава Богу, жена жива.

А Ольга, оказывается, выбежала на улицу к соседям, кричит: «Люди добрые, помогите! Горим!» Я понял, что с Ольгой ничего страшного не случилось, успокоился и пошел в дом, и вот странное дело: на первом этаже ничего вообще не изменилось – все цело, все наши вещи на своих местах в обычном житейском беспорядке, одежда, мои поделки

из дерева, компьютер, дипломат с документами, и никакого огня и даже дыма, только гул мощный – второй этаж горит.

Я прошел на кухню, открыл кран до упора – вода бьет о металлическую раковину и почти не шумит потому, что гул со второго этажа забивает шум воды. И сразу ясно: пока наберется ведро – потолок провалится. Я понял, что у меня минута, а может меньше. Распахнул окно, бросил туда свое самодельное деревянное кресло, нашел свой паспорт, положил его вместе с ноутбуком в дипломат тоже в окно бросил, потом открыл все двери, чтобы наша кошка выбежала, если вдруг еще не выскочила. И тут как раз проводка затрещала, заискрила голубым над головой, начала гореть на потолке вагонка, я выскочил через дверь, как раз когда посыпались горящие ошметки с потолка.

Выбежал из дома – и к жене на улицу, а там уже толпа. Народ передает по цепочке откуда-то воду, начали поливать дом Ивана Ильича. Я суетился вместе со всеми, плескал воду на забор, который отделял соседское строение – вода шипела, забор дымился. Жар стоял жуткий. Повезло, что ветра не было, удалось отстоять соседские дома.

Какая-то женщина из пришедших на пожар подошла к Ольге, надела ей на плечи белую кофточку поверх ночной рубашки, сунула в руку 500 рублей. Я в это время бегал где-то с ведрами, об этих событиях знаю только по рассказам жены. Сколько лет прошло, а кофту Ольга носит до сих пор, и забота по сути посторонних людей живет в нашей памяти.

Ольге тяжело было приезжать на обгоревший участок, я начал строительство без нее. Привез бригаду, поселил рабочих в уцелевшей в дальнем углу участка бытовке, пошел к Ивану Ильичу. Он сочувствия особого не выражал, но пообещал присмотреть за строительством, инструментом подсобить, электричеством, водой, ну я, конечно, ему заплатил. Он мне говорит: «Езжай, Саш, не волнуйся, чем смогу помогу».

Приехал я через неделю (я работал в городе на фирме, приезжал на стройку только в выходные), а строители мои мне рассказывают, и нет-нет да проскочит у них «Дядя Ваня»; ну, думаю – значит, нашли общий язык. И мысль такая мелькнула: как это просто звучит у работяг, как-то по-родственному, совсем не фальшиво, почему я так не смог?

Я на стройке своего дома помогал по мере сил, и как-то нужно мне было расколоть бревно, взял я один топор и стал его забивать как клин другим топором, ну и лопнул обух. Посмотрел я: батюшки мои, это я топор Ивана Ильича сломал! -и пошел извиняться.

– Так и так, – говорю, – Иван Ильич, извините ради бога, я вам куплю такой новый.

– Что ты купишь, – сказал он с горечью. – Купит он. Таких топоров не делают уже.

На том дело и кончилось, искупить сей грех так и не удалось.

Год прошел – вместо бревенчатой избы появился у нас

щитовой утепленный домик. Как говорится, «нет худа без добра»: старую избу топили-топили поздней осенью – все из щелей дуло, а тут в этом щитовом домике поставили буржуйку-камин, да электрический обогреватель, и держит тепло, как термос, – стали мы и в ноябре почаще приезжать на выходные.

Иван Ильич жил безвыездно до самых холодов до конца ноября, уже когда и воды в поселке не было – как-то справлялся. Бывало, спрошу его: « Иван Ильич вы здесь до какого числа?»» А он мне: «Поживу еще маленько, что мне там в Москве в моем скворечнике на девятом этаже делать, здесь, хоть земля рядом. У меня тут картошка своя, огурцы соленые, все свое, дольше тут просижу – меньше везти с собой в Москву».

Если приезжали в конце осени и видели свет в окне у Ивана Ильича, Ольга радовалась, говорила: «Вот – если вдруг придется ночевать одной на даче, я без Иван Ильича не решилась бы, а при нем, так, пожалуй и не страшно».

А в ноябре поселок совсем пустой. Идем вечером на прогулку, Ольга по сторонам смотрит и, если где свет горит, всегда радуется и говорит: «А вон еще свет в доме. А вон еще. Впрочем, нет – это фонарь отсвечивает, а кажется, будто свет в окне».

Уезжали мы с дачи – уже морозом землю прибивало, так Иван Ильич еще на месте был, а по весне приезжали – он уже на своем участке: ходит, как журавль, за сеткой переставляет

свою негнущуюся ногу.

Прошел год, вернулась трава, потом возродился куст чубушника и сирени, оставшиеся березы подросли и щедро давали ажурную подвижную тень от колыхаемых ветром ветвей. Стали мы забывать про старый дом и про пожар. Пока хозяйство налаживали, сколько раз к Ивану Ильичу обращались. И калитку он нам, кстати, к петле приварил: «Где сам сварочный аппарат возьмешь?» И с электрикой помогал, уж мы к тому времени ему как себе – святое доверяли – электрику!

Несмотря на соседские отношения бывали и взбучки, правда. Как-то раз я оставил шланг под деревом пролить землю как следует и забыл, вода потекла на соседний участок к Ивану Ильичу. Напоминание, что вода не выключена, не заставило себя ждать.

– Ты что же, сукин сын, делаешь, – кричал Иван Ильич, – ты же мне весь участок залил. Я примирительно оправдывался:

– Иван Ильич, ну это же вода, не мазут какой-нибудь. Люди все поливают свои участки, а вам от меня натекло – польете поменьше, в чем проблема-то?

– Поливают! – кричал Иван Ильич. – Нешто так участки поливают?! – ну и, конечно, матерился трехэтажно.

Я хоть и попривык к нему, знал, что он отходчив, а все же его гнев и возмущение для меня каждый раз было встряской. Даже Ольга, которая готова была остаться ночевать на даче,

только если рядом Иван Ильич, и вроде бы его совсем не боялась – говорила потом: «Смотри, не дай бог зальем опять Иван Ильича, пойди еще раз кран проверь».

В другой раз мы залили его, когда у нас сорвало на участке кран. Я решил предупредить скандал, сам пошел к соседу, постучал и сразу признался, что кран сорвало и без него никак не можем справиться. Иван Ильич был серьезен и сосредоточен, ходил то к крану на наш участок, то обратно в свой сарай, менял сальник, потом прокладки. Потом что-то еще. По ходу объяснял, что к чему и как бы нас всех залило, если бы вовремя его не позвали.

В новом доме уже лет пять прожили – в Ольге стал постепенно просыпаться крестьянин и мичуринец одновременно. То у нас только смородина, березы с осинами, и кабачки были. А тут жена грядки стала копать, кирпичами их обкладывать, рыхлить и над семенами колдовать. По весне картошку проращивает в Москве на полке (штук по 20), привозит ее на такси, собирает осенью раза в два больше. И меня в свою веру обращает: мол, все без ГМО, без нитратов, – разве такое в магазине купишь?

Следом пошли разговоры, что слишком много «леса» у нас на участке, что корни берез забивают грядки, что разве в тени вырастишь что-либо путное? И все мне пеняет на Ивана Ильича: «Вон у Иван Ильича уже картошка какая. Посмотри, у Иван Ильича лук уже вон какой!»

На почве разумного земледелия стали у Ольги с Иван

Ильичом общие интересы проявляться. Встретятся у забора и какою-нибудь помидорно-огуречную тему обсуждают. А как-то раз принесла Ольга от забора соленых огурцов. Здоровые, как поросята, казалось бы, такие должны быть перезрелыми и невкусными. Куда там – первый сорт, мы потом их резали на тоненькие ломтики и смаковали с картошкой – чудо, а не огурцы, удивительно хороши.

Вечером как-то вышел я во двор, и Иван Ильич неподалеку стоит – увидали мы друг друга сквозь сетку, поздоровались, помолчали, и тут он меня своим вопросом немного удивил.

– Когда, – говорит, – твоя жена на пенсию-то пойдет?

– Через четыре года, – ответил я.

Иван Ильич что-то прикинул, посчитал в уме, а потом резюмировал: «Долгонько».

Что за планы он строил по поводу моей жены, для меня так и осталось загадкой. Может, ему тоже хотелось, чтобы у соседей горел свет долгими ноябрьскими вечерами.

В очередной раз Иван Ильич помогал мне что-то с трубой на участке, и я его пригласил зайти ко мне в новый дом. Он отнекивался. Я его увещевал. Что, мол, с пожара он и не заходил внутрь, надо же посмотреть, как я дом отстроил. Мне хотелось показать, похвалиться своими новыми поделками из дерева, новым резным зеркалом. Иван Ильич походил с постным лицом и наконец сказал:

– Да, Саша, снаружи-то у тебя дом, посмотришь, вроде бы

большой, а внутри – так и жить негде, у меня в вагончике и то просторнее.

Я внутренне улыбнулся, узнавая Иван Ильича: не было в нем той светской привычки раздавать комплименты, он держал свою линию – «не хвалитесь, у меня все равно лучше». И еще я подумал: бывает, человек снаружи колючий, вредный, а внутри ранимый, бесхитростный, а бывает – наоборот.

***

Государство наше нет-нет да и придумает что-нибудь, как дополнительный налог с дачников собрать. Вот и нас сия чаша не миновала. Пришла наша новая председатель, Татьяна Ивановна, разъяснила, как надо зарегистрироваться в электронном кадастре, как вызвать замерщиков, куда потом диск везти, а главное – как собрать подписи с соседей, что, мол, они к текущему положению заборов претензий не имеют. Я как про Иван Ильича подумал, у меня сразу чувство нехорошее возникло. Я уж его знал не один год как бунтаря непредсказуемого. То ли подпишет, то ли обложит, заранее спрогнозировать невозможно. Пришлось пойти на маленькую хитрость: встретил я на улице Татьяну Ивановну и говорю:

– Приглашу Иван Ильича к вам в сторожку, он там буянить не станет, думаю, сразу подпишет, вы для него власть. А если я к нему приду просить, так не известно, что еще получится.

Татьяна Ивановна, конечно, Ильича знала и тут же согласилась. Зашел я к Иван Ильичу, так и так, говорю, вызывает нас председатель в сторожку по делу межевания документ подписывать, а подробности все Татьяна Ивановна вам сама объяснит.

Пришли, Татьяна Ивановна нас усадила и короткую лекцию прочитала про то, что государство наше новый проект проводит в жизнь, и мы его значит должны поддерживать и исполнять. Разъяснила Ивану Ильичу, что надо подпись поставить, что он согласен с существующими границами и положением забора.

Иван Ильич выслушал что-то смекнул и однозначно высказался:

– И не хера-то я не подпишу!

Татьяна Ивановна сделала вид, что не слышала бранного слова, и продолжила ровным голосом:

– Это почему же, Иван Ильич? Вы что, не согласны с тем, как сейчас забор стоит?

– Подпишешь тут у вас чего-нибудь, и себе же боком выйдет!

– Что же вам выйдет боком? – терпеливым голосом продолжала диалог Татьяна Ивановна.

Иван Ильич аж подпрыгнул от негодования, и стало ясно, что силы в нем еще гуляют молодецкие, и почти закричал:

– Саш, ты что, стало быть, не помнишь, мы с тобой забор этот ставили! Я тебе говорю – отступи от своего сарая сан-

тиметров 20 на мой участок, а в другом конце также сдвинем забор в твою сторону: и тебе, и мне удобнее будет. Ты помнишь?

Я, честно говоря, забыл этот эпизод, и подивился, что Иван Ильич помнит такие мелочи через столько лет. И сказал:

– Точно, вроде было такое.

– Вот, – сказал Иван Ильич, как бы уличая меня в том, что я сам об этом председателю ничего не рассказал, – было, значит, все-таки? Вы вот зафиксируете сейчас в вашем кадастре этот забор. А по закону все совсем не так.

– Так у вас теперь меньше земли стало, или вам не нравится, как забор стоит? – спросила Татьяна Ивановна. – В чем проблема то?

– Проблема в принципе, – сказал Иван Ильич. – И не просите, не подпишу я вашу бумагу и все.

– Ну вот вы сейчас не подпишите, а потом будете свой участок приватизировать, и вам соседи не подпишут – что же хорошего?

– И так проживу, – сказал Иван Ильич, – мне недолго осталось, не вижу смысла потакать вашим фокусам. И просить кого-то подписи мне ставить никогда не стану, плевать я хотел на ваши подписи.

Татьяна Ивановна (а она не просто умная женщина, но еще и психолог) сделала паузу и вдруг спрашивает:

– Иван Ильич, как, огурцы-то уже солили в этом году?

Иван Ильич прищурился, ища подвоха. Я молчал.

Через пять минут Иван Ильич вел на свой участок председателя, я через сетку видел, как он обстоятельно показывает, где у него что посажено, что как растет, выдавал секреты, хвалил свою малину. Прошло минут пятнадцать, прежде чем они зашли в дом, потом Татьяна Ивановна вышла из его дома, вышла из калитки Иван Ильича и вошла в мою – в руках она несла подписанный лист. Она отдала мне листок с корявой подписью Ивана Ильича, купленной пятью минутами внимания к его посадкам. В этот момент она мне напоминала воспитательницу детского сада.

***

В то лето Иван Ильич приехал не в мае, как всегда, а только в конце июня. Я уже слышал, что он перенес операцию. На вид осунулся, похудел.

– Как Вы, – спросил я, увидев его впервые в новом сезоне сквозь нашу общую сетку

– Ничего, – сказал Ильич, – вот приехал поправлять здоровье.

– Как больница, в которой вы лежали, как врачи?

– Как, Саня, везде жулики, – ответил он в своей обычной манере. – Не столько хотят тебя вылечить, сколько на тебе заработать.

Прошло пару недель, Иван Ильич вроде как ожил, бледность ушла. Даже похвалился мне, что смог рюмашку махнуть. В тот же, кажется, день работал я вечером за своим

верстаком и заклинила у меня гайка на болгарке, так затянулась, что никак ее свернуть не могу. Позвал жену, но какое там, она к слесарным делам совершенно не приспособлена. И говорит мне:

– Ну ты придумал тоже себе помощницу, иди вон к Иван Ильичу.

Я зашел, постучался, Иван Ильич взялся помочь, мы закрепили болгарку у него на верстаке. Ильич командовал, как старший и более опытный, я признавал это его право на менторский тон.

– Давайте я буду крутить, – сказал я, – тут физическая сила нужна.

– Физическая-то еще есть, – сказал он, – хотя, конечно…

Мы отвернули гайку. Я благодарил Ильича и уже собрался уходить, как он остановил меня и спросил:

– А помнишь, как я к тебе пьяный приходил, а ты на меня телегу накатал?

Я кивнул, я помнил.

***

Пришла очередная осень. Я стоял возле своего верстака, смотрел сквозь сетку забора на Иван Ильича, он шел с березовой метлой (точно такой, какие бывают у дворников в городе), мел желтые мелкие листья с моей березы и матерился

себе под нос. Меня он не видел.

Листья ложились заново на его выметенную дорожку. Он доходил до угла участка, начинал мести заново. Мне стало как-то остро его жаль, не из-за листьев, а из кого-то упорства, которое, как мне показалось, удерживало его на плаву. Я окликнул его и сказал:

– Иван Ильич, давайте зайду к вам, помогу листья убрать.

– Не надо ни хера, – сказал он тихо, – новые нападают.

Я вспомнил, как 30 лет назад он обещал, что листья полетят на его участок, и только тут заметил, какими огромными вымахали мои березы: листья отрывались с огромной высоты и летели далеко на участок Иван Ильича и еще дальше. И я вспомнил оба его пророчества: что я буду гореть, как швед под Полтавой, и что листья полетят на его участок.

В самом конце сезона приехали строители и одели домик Иван Ильича в сайдинг. Я посмотрел и дом не узнал, скрылись куски бетона внизу, и все некрасивые части, и обглоданные края досок. И старая рама слухового окна. Абсолютно новый дом.

***

О том, что Иван Ильич умер, я узнал от Сереги-сторожа, в мае нового сезона. Мы шли мимо дома Иван Ильича, и Серега сказал: «Видишь, домик как новенький, а дядя Ваня не захотел в таком жить». У меня первая мысль мелькнула: «Жалко Ольгу: ей будет больно».

Как подруга наша Таня говорила: «Я понимаю, что мы уже к пенсионному возрасту подошли, и тем не менее, осталось ощущение, что есть мы, а есть они – взрослые. И таких людей все меньше. Они, „взрослые“, которые могут нам что-то поставить на вид, заругать нас. Сказать, вот наше поколение… И от этих фраз понимаешь: есть еще та гвардия за спиной. И, к сожалению, люди из этой гвардии все уходят и уходят».

Что остается от людей, когда они уходят? От Иван Ильича у меня осталось на удивление много: топор с разбитым обухом, розетка в сарае, кран на участке, заваренная петля, на которой держится наша калитка, и вот этот рассказ.

2018

Диалог в постели

– Нет, подожди, не надо! Я не могу расслабиться, когда за стенкой дети… Я думаю, нам надо когда-нибудь уехать куда-нибудь, где никого нет. Как ты думаешь? Чего не отвечаешь?

– Я согласен, что нам надо когда-нибудь куда-нибудь уехать…

– Ну ладно, я, по-твоему, сказала глупость?

– Ты разве когда-нибудь говоришь глупости?

– Нет.

– Вот видишь! А ты не можешь представить, что мы уже куда-нибудь уехали…

– А тебе что – так хочется? У тебя такой усталый вид…

– Я разве сказал, что хочется?

– Просто я не могу начинать этот разговор каждый раз в начале первого, когда язык еле ворочается.

– Так не начинай!

– Это ты начал.

– Ну, извини…

– Ты что сердишься? Я не люблю, когда ты начинаешь сердиться. Потом мне самой это необходимо. Но только тогда, когда, как бы тебе объяснить, когда пробегает искра. А иначе зачем все это?

– Ну, хорошо. Давай спать. Спокойной ночи.

– Я тебя не обидела?

– Нет!

– Честно?

– Я сплю.

– Ну, хорошо. Ты сегодня устал. Хочешь, я тебе сделаю массаж, и ты уснешь.

– Хочу.

– Расслабься, думай о чем-нибудь приятном.

– Например?

– Не отвлекайся. Почувствуй в моих руках тепло… Ты что, засыпаешь?

– Нет.

– А может быть, теперь ты потрешь мне холку? Только холку. Голова начинает болеть…

– Так приятно?

– У тебя такие чуткие руки…

– Руки как руки.

– Нет, правда, правда…

– Так хорошо?

– Почувствуй энергию в своих руках, и они сами будут делать то, что нужно. Хорошо, но ниже не надо.

– А так?

– Так хорошо, так очень хорошо… У нас, кстати, есть презервативы.

– У тебя же нет искры…

– Я просто не могу вспомнить, где они лежат. Не дай бог, найдут дети!

– То-то я удивился, что ты о них вспомнила!

– Потом этот ужасный диван!

– Чем же он ужасный?

– И диван, и комната. Половина мебели темного дерева, а половина светлого! Слушай, вот здесь ты массируешь, а мне больно. Причем какая-то новая боль, раньше тут не болело. Дай я сама потрогаю. Ну, точно, тут никогда не болело.

– Знаешь, кто-то сказал, что, если после сорока под утро вы вдруг чувствуете, что у вас абсолютно ничего не болит, это значит, что вы умерли. Так что давай ложись на бочок, ни о чем не думай. Завтра проснешься – все будет хорошо.

– А почему ты говоришь таким голосом?

– Каким я говорю голосом?

– Ты говоришь таким голосом, как будто я твоя дочка, и ты со мной сюсюкаешь. Я терпеть этого не могу. Я хочу чувствовать себя не дочкой, не мамой, а женщиной. Хочу, чтобы со мной рядом был взрослый мужчина.

– Это я сюсюкаю? Ну хорошо, я больше не буду. Давай спать!

– Ужасно все-таки, в какой школе у нас дети! Тебя в свое время родители отдали в приличную школу, ты выучил английский, поступил в институт, а они после такой школы прямиком пойдут в армию. На репетиторов денег нет, денег ни на что нет, а если вдруг, не дай бог, что случится? Ты спишь? Я заметила, когда у меня возникает важный разговор, ты всегда засыпаешь. Я не понимаю: ну почему я должна себя чувствовать виноватой? А сколько раз было, когда ты приходишь и просто засыпаешь, потому что у тебя нет сил и тебе абсолютно наплевать, какие у меня были желания.

– Дорогая, ты бы намекнула, я бы тут же проснулся.

– Да зачем ты мне нужен сонный? Ты и не сонный меня разбудишь только-только и уже спишь.

– Я сегодня был абсолютно не сонный.

– Сегодня уже не сегодня, а завтра!

– Так мы начали этот разговор еще вчера.

– А не надо заводить никаких разговоров. Понимаешь, это должно либо случиться, либо не случиться. И нельзя ничего планировать!

– Извини, я забыл: это должно быть как искра.

– Только не надо иронизировать.

– Ну ладно. Я понимаю, сегодня искры не было.

– И не надо. Для того чтобы пробежала искра, должен быть заряд разных энергий.

– Давай просто так обнимемся и заснем.

– Давай!

– Какое у тебя мужское плечо!

– Чего же в нем мужского?

– Не знаю. Так на нем уютно, такое чувство приятное. На нем лежишь, и такой покой. По-моему, в супружеской паре после пятнадцати лет совместной жизни уже не может быть нормального секса.

На свидание женщина идет, готовится, подводит глазки, потом они держатся за руки. А потом уже все остальное. Тут был китайский фильм. Совсем другая культура! Они там пятнадцать лет только за руки держались. Представляешь, какие они испытывали чувства? Ты спишь? Вот я так рассуждаю: нужен ли вообще секс ради секса? Как ты думаешь?

– Я думаю, нет!

– А я думаю, все не так просто. Секс – это некий глобальный процесс. Процесс слияния женской и мужской энергии. И он может быть на разном уровне. Мужчина – это проникающая энергия, женщина – принимающая. Это Инь и Ян. Ты слушаешь?

– Слушаю.

– Кстати, где-то мне попадалось, что китайские импера-

ры испытывали оргазм без семяизвержения, представляешь?

– Не очень.

– Ну, они этому долго учились, и это служило залогом долголетия… При настоящем сексе оба получают энергию извне, а не тратят свои последние силы. Ты меня слушаешь?

– Слушаю.

– Я чувствую: когда я начинаю говорить о чем-то для меня важном, ты перестаешь слушать. Поэтому между нами нет главного – внутренней близости. И мне приходится говорить о самом сокровенном с другими людьми. Ты спишь?

– Да нет, я все слышу. Ты сказала: о самом сокровенном тебе приходится говорить с другими людьми, поэтому у нас нет внутренней близости, а без нее невозможна никакая другая. Слушай, а может, мы чуть-чуть поговорим об этом сокровенном?

– На заказ я не могу о сокровенном.

– Нет, я серьезно.

– Ты знаешь, я тут приехала на дачу – меня там не было три недели – в доме все как бы замерло, а часы идут и показывают правильное время. Это так странно. Ты не находишь?

– Ну, в некотором роде странно, конечно.

– Знаешь, о чем я сейчас подумала?

– О чем?

– Мир, понимаешь, он не враждебный, он не принимающий, не дающий. Он никакой. Все внутри нас. Ты согласен?

– Ну, в общем, да.

– Ты вроде бы чуткий, а меня не понимаешь.

– Ну почему не понимаю? Я же не тупой. Мир никакой: все внутри нас. Чего не понять-то?

– Ну, хорошо, не будем об этом…

– Знаешь, кстати, по поводу того, что «мир никакой». Звонит мужику баба, и номером ошиблась, и заплетающимся языком говорит: «Владик, привет, это Вера». Он ей: «Какая Вера?». А она: «Да практически никакая». Не смешно?

– Тебе сколько лет? Я с тобой о чем-то важном, а ты все какую-то гадость. Я с тобой просто не могу ничем поделиться.

– Ладно, извини, вспомнилось не к месту.

– Вечно у тебя все не к месту. Смотри, окно сереет. Это что? Неужели светает?

– Да нет, фонари, наверное, зажгли.

– Какие фонари на пятнадцатом этаже? Хочешь колбаски?

– Нет. А может, у тебя есть что-нибудь типа слив?

– Есть что-нибудь типа яблок. Не хочешь?

– Нет!

– Знаешь, чего я больше всего хочу?

– Интересно?

– Я хочу умереть в полном сознании!

– Когда?

– Не знаю. Иногда мне кажется, что я не успею понять чего-то главного здесь, на этой земле. А это очень важно. Ты

не хочешь узнать, почему это важно?

– Почему это важно?

– Потому, что если ты примирился с тем, что ты смертен, то ты абсолютно свободен и только тогда можешь правильно жить. Ты понимаешь, о чем я?

– Да, это ты очень верно подметила.

– Дай я тебя поцелую.

– Ты классно целуешь. Помнишь, как мы целовались на пустыре возле больницы? Там были такие желтые клены и почти совсем зеленая трава…

– Нет, не помню. Я помню, как я первый раз целовалась с Витькой возле школы. Я тогда вообще ничего не умела. И Витька тоже. Он говорит: «Я в каком-то кино слышал, что он ее поцеловал, а она ему ответила, только не знаю как!». Смешно, правда? Ты не ревнуешь?

– Да нет!

– Ревность, на самом деле, не имеет ничего общего с любовью. Просто никто никому не принадлежит. По-настоящему, человек одинок. Каждый, как говорится, умирает в одиночку. А ты помнишь, как ты целовался первый раз?

– Нет.

– Дети растут, детей надо воспитывать, прививать им чувство прекрасного!

– Я, знаешь, на эту тему вспомнил историю. Класс первый или второй. Парень у нас один был из культурной семьи. Мать ему не разрешала с нами водиться. Они, мол, тебя

хорошему не научат. Все альбомы ему показывала. Говорила, что женское тело – это прекрасно. Так он эти альбомы смотрел-смотрел, а потом взял и у какой-то Венеры между ног вилкой дырку проковырял. И главное, не признавался целый месяц. Твердил, что ума не приложит, откуда взялась эта дырка.

– Вот изверги! Слушай, жалко как мальчика! Иди ко мне, я хочу тебя обнять! Обними меня… Да, хорошо. Слышишь? Что это был за звук?

– Это у соседей!

– Нет, это наши, кашляют.

– Нет, наши спят!

– А я тебе говорю: наши раскрылись. Небось и из окна дует. Пойди закрой окно. Ты спишь? Чего молчишь? Ну ладно, спи-спи. У тебя был тяжелый день.

2001

Любимое время года

«Мое любимое время года», – вывел я жирно и старательно, поставил точку, потом подумал и заменил ее восклицательным знаком, и время потянулось медленно и мучительно. Это было очередное испытание – классное сочинение на заданную тему. Оглядываюсь, в классе тишина: кто-то уже строчит вовсю, кто-то смотрит в окно, кто-то морщит лоб, решая, какое время года подобает любить прилежному уче-

нику – муки творчества особенно тяжелы в конце четверти. Наша учительница, Елена (так мы зовем ее только за глаза), сейчас сидит с самым мирным выражением лица и сосет дужку от очков. У нее крючковатый нос, взъерошенные волосы. Она часто на нас орет, выбирая самые простые и незатейливые слова типа «пень» или «табуретка», порой забывая не только про литературу, но и про причину, вызвавшую ее гнев. Если человек может так самозабвенно орать, он уже не способен на подлость, так, по крайней мере, мне кажется. В особенно бурные минуты, когда она с криком вышагивает между рядами, я обычно сижу и тихо рисую в своей тетради по литературе портреты Добролюбова, Лермонтова или профиль моего соседа по парте Вандышева, который у меня выходит особенно хорошо. Иногда она задерживается возле моей парты, нависает надо мной, смотрит на мое произведение, которое наезжает на надиктованные тексты, и не только не выгоняет меня из класса, но даже порой затихает. По литературе у меня нетвердое «три», и, видимо, объективно. Елена ко мне относится хорошо, и когда говорит, что «вечно ты, Прохоров, лохматый», то не потому, что я балбес, как утверждают все остальные, а просто потому, что у меня две макушки, а это, как она считает, к счастью. В такие минуты мне хочется написать самое пятерочное сочинение, не для отметки, конечно же.

«За что я люблю лето? Нет, лето все любят, лучше осень», – подумал я и написал в конце концов: «Я, как

и Пушкин, больше всего люблю осень».

И почувствовал возбуждение творца: вот оно – точное начало, лучше не скажешь, и, главное, сразу цитата напрашивается:

Унылая пора! Очей очарованье!

«Пора и впрямь унылая, – подумал почему-то я; впрочем, понятно почему: – Каникулы кончились, опять учеба, контрольные, учителя, одна Лидяша (наш завуч) чего стоит», – вспомнил с ужасом я и продолжил цитату:

Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…

Цитата задавала определенное направление, и я уже внутри ликовал, предвкушая, как порадуется мама, узнав, что я научился, наконец, писать сочинения. Я мечтал, как Елена раздаст все листочки и скажет: «А одну работу, ребята, мне хотелось бы зачитать в классе».

«Интересно, – между тем размышлял я, – почему Пушкин любил именно осень: погода плохая, в Москве сыро, на даче холодно». И незаметно переключился на собственные впечатления: бегаешь всю неделю в школу по шесть уроков, а в выходные родители вместо того, чтобы на дачу уехать, дома сидят, даже сейшн не устроишь. «Не отвлекаться!» – под-

стегнул я себя и продолжил немного незавершенную пушкинскую мысль: «Особенно хорош осенью лес, когда чудесница-осень покрасит каждый листочек в желтые или красные цвета».

Людка сидит за соседней партой и прижимает полными коленями в капроновых чулочках учебник к парте, сбоку мне это хорошо видно, и, видимо, что-то списывает про свое любимое время года – не дай бог, тоже у Пушкина. Она ужасно нервничает, мучается, но потом все равно получает три балла. А девчонка она отличная. Всегда дает списывать… Только что у нее списывать? Кстати, мама ее собирает у нас деньги на завтраки. Она такая же полноватая и улыбчивая.

С другой стороны сидит Ольга Рунова, она склонила голову набок, морщит лоб, слегка высовывает кончик языка и одновременно лепит круглые буквы одна к другой, одна к другой, а потом получает пятерки. Интересно, где она научилась так писать сочинения?

От кого-то я слышал, что гениальные писатели являются лишь проводниками великих идей, которые сами ложатся на бумагу; главное – начать получать эту информацию, но как?!

Вся моя беда в том, что мысли мои страшно разбредаются, но я с собой борюсь и продолжаю.

«А еще осень Тютчев любил», – и тут же вспомнил цитату, на редкость уместную:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

Ой, тут мне даже немножко неловко стало: чего же там лучезарного, когда осенью уже в семь часов почти так же темно, как летом в одиннадцать. «Впрочем, с другой стороны, это даже неплохо, – размышляю я, – особенно, если в школе вечер. В зале полумрак (если, конечно, Лидяша свет не зажжет), школьная форма забыта, все разодеты и настроены на что-то неведомое и запретное. В дальнем углу точечки сигарет старшеклассников, витают немыслимые ароматы духов, и приходит ни с чем не сравнимое ощущение школьного вечера. А как приятно танцевать с некоторыми девочками!»

Танец – это потрясающее изобретение. Попробуй положи просто так руку на талию девчонке на переменке или хотя бы на плечо во время завтраков – засмеют. Вообще ничего такого нельзя. Раньше хоть толкнуть можно было или за косичку дернуть, а теперь и это неудобно. А на танцах – пожалуйста: одну руку на талию, другую – на плечо. Причем вся прелесть медленного танца именно в его развитии: сначала касаешься ее только руками, потом, если повезет, расстояние между вами сокращается, начинаешь чувствовать грудью ее грудь, потом животом живот и так далее, а музыка все играет «Don't let me down!». Следующий волнующий момент наступает, когда она уберет руки с твоей талии и обнимет

за шею. Вот тут Лидяша и зажжет в зале свет. Парочки разлепляются, жмурятся и шепчут друг другу на ухо: мол, принесли же ее черти.

Все эти мысли совсем уводят меня от любимого времени года, и вернуться к нему мне стоит немалых усилий. Но перспектива двух баллов возвращает меня к действительности, и я продолжаю.

«Еще осень Тургенев любил, ходил в лес с собакой, вальдшнепов стрелял», – но цитата из Тургенева на тему осени в голову так и не приходит. Приходит в голову строчка, которую мама с папой пели на два голоса: «Утро туманное, утро седое… Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь давно позабытое».

Интересно, рассуждал я, какое у них там было время года, и тут же вспомнил: «Нивы печальные, снегом покрытые» – можно сказать, что поздняя осень, но халтурить не хотелось, и от цитаты пришлось отказаться. И так убедительно получилось: в лес ходил с собакой на охоту, а самая охота как раз осенью, и потом, если осень Пушкин и Тютчев (такие мастера слова!) любили, то, наверное, Тургенев ее тоже любил.

Итак, получились те самые полстранички, после которых меня обычно заклинивало: и ни туда ни сюда, а до звонка еще пятнадцать минут – самое продуктивное время.

И тут я подумал, что, как ни странно, раньше осени вообще не было, потому что были лето и зима. Лето начиналось в мае, когда мы с мамой, прихватив желтых крошеч-

ных цыплят в коробке с дырочками, ехали на дачу. Мы были в поселке почти одни, темнело рано, папа приезжал только по вечерам. И несмотря на то что под елками лежал снег, вечера были еще холодными и меня выпускали гулять только в осеннем пальтишке, это уже, конечно, было лето. Потом наконец папа получал отпуск, приезжали дачники, цыплята из желтых становились белыми, улицы наполнялись ребятней, пылью, кошками и собаками. И это тоже было лето, и на пол крыльца, крытого черным рубероидом, было нестерпимо горячо ступить босыми ногами. Затем все опять пустело: кому-то нужно было учиться, кому-то работать. Дачники разъезжались, и мы опять оставались почти одни. Ветер гонял по поселку грязную бумагу, брошенные кошки и собаки, тощие, как стиральные доски, обнюхивали мусорные кучи. Я украдкой таскал со стола то кусок сыра, то мясо и прятал их незаметно под столом, а после нес за сарай, куда ко мне наведывались два кота. А потом меня увозили в Москву, и я плакал и не мог понять, почему родители, которые вроде бы любят животных, не могут взять хотя бы одного из двух этих облезлых котов с собой. На вокзале в Москве продавалось мороженое за двадцать восемь копеек, твердое-твердое, с орехами, в тонкой бумажке – его хватало до самого дома. В подъезде был узнаваемый запах тепла и жилых квартир, а в доме валялись забытые за лето игрушки. В папиной комнате лежал мой любимый огромный ковер, который в разные времена служил мне то морем, то поляной. Тикали бронзо-

вые часы, и лето неожиданно кончалось, потому что вечерами я сидел перед черно-синим окном, глядел в темноту и спрашивал: ну когда же пойдет снег? На самом деле снега еще быть не могло, потому что это была не зима, а именно осень, и я ее действительно люблю. Потому что осенью кончается лето и начинается зима, а мы становимся старше на целый год, и от этого всегда бывает радостно и немножечко грустно. Но всего этого я не написал, а написал совсем другое.

«А еще осень Маяковский любил, потому что осенью много фруктов и овощей». Подумал и привел цитату вполне соответствующую:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй, —

и сдал сочинение.

1984

Плетеный ремень

День выдался классный, а вечер был вообще особенный! Идешь по родному Питеру – весна, сирень цветет и настроение такое, что всех людей на свете любить хочется! Молодежь то там то здесь подает голоса, сидят на спинках лавочек, тусуются, и такое ощущение, что всем хорошо! Что сто-

ит к любой компании подойти – и тебя потащат с ними выпить, а потом пойти к кому-то в гости, и там будет здорово, интересно, весело… А может быть, будет что-нибудь неожиданное?

В тот вечер я и встретилась с мальчиком… Об этом, собственно, и весь разговор. Нелепая получилась история. Я шла по Невскому, глядела по сторонам и, конечно, заметила, как он выворачивает в мою сторону шею – того и гляди, наступит в лужу или с кем-нибудь столкнется: смешной, белобрысый, молоденький. Через некоторое время оказалось, что он не только шею выворачивает, но и курс свой вслед моему держит и даже галсами обходит. В этом преследовании не было ничего опасного или неприятного. Было ли это лестно? Видимо, нет. Настроение было хорошее – весна, а все остальное – по фигу! Когда он приблизился снова, делая вид, что не замечает меня, мне стало жаль его, и я, игнорируя толпу, сказала: «Молодой человек, как вам не стыдно преследовать честную женщину!» В течение нескольких мгновений он не мог понять, что это шутка, но, видя, что я улыбаюсь, подошел, благодарный за то, что я помогла ему побороть робость и завести разговор. Так странно: он говорил такие забытые слова, как школа, класс, последний звонок. Я слушала, и мне казалось, что со мной это было так давно… или недавно? Пока он болтал, я вспомнила свой выпускной бал, как мама всю ночь шила мне белое платье, потом в доме собрались ее друзья и ждали меня до ночи за столом.

А я пришла только под утро, и на платье была дырка, прожженная сигаретой. Я вспомнила, как плакала мама и как она крикнула, что ненавидит меня за то, что я такая же, как и мой отец. Но боли уже не было, даже обида на мать прошла – с той поры произошло так много новых обид, что старые притупились. Впрочем, про обиды вспоминать не хотелось, уж слишком был хорош вечер, и мальчик такой милый. Мы шли уже без цели по узким улочкам, и было непривычно тепло, и все еще немного странно после долгой зимы идти вот так поздно совсем налегке. Он рассказывал мне анекдоты, и случаи из своей жизни, и что случалось с его родителями в детстве, изображал в лицах своих учителей. Мне было смешно, я разошлась и хулиганила самым бессовестным образом: шокировала его пошлыми анекдотами, несла несусветную чушь и даже изображала диалог алкоголика с воблой, которую он достал из рваного кармана по ошибке, завернув за угол по малой нужде. Чем большую чушь я несла, тем шире он открывал глаза и смотрел мне в рот, боясь пропустить хотя бы одно мое слово. Когда так слушают, хочется говорить. И я говорила про все понемногу: что было хорошего и плохого, про то, как я была маленькая, а потом большая, про то, как меня в детстве укусила собака и на носу оставила шрам, про то, как я уснула на уроке и отпечатала на щеке след от линейки, которая лежала на парте. Про то, как жила с мужем, как лежала в больнице, как муж стал навещать меня все реже, и я поняла, что мы разведемся. Про

то, как при разводе он забрал нашего общего пса, и когда через месяц я пыталась с ним пойти погулять, пес упирался, рычал и даже отказался спать на моей кровати, и я больше не стала его брать.

Потом мы слушали музыку из чьих-то окон.

Как в такой вечер можно было не целоваться? Мы прижимались к какой-то грязной стене, сидели на лавке в чьем-то дворе, а затем опять бродили вдоль канала, и я боялась, что он лопнет или прыгнет в воду от избытка чувств. А он вдруг остановился и стал расстегивать ремень, кожаный, плетеный, который скрипит, когда его вынимаешь из штрипок, и, вытащив его совсем, сказал: «Вот возьми. Это мне подарил отец. Это классный ремень, и он здорово скрипит». Это было весьма неожиданно. За всю мою долгую жизнь никто из ухаживающих за мной мужчин, расстегивая ремень, не предлагал мне его в качестве подарка. Я взяла ремень, и он был благодарен, что я приняла подарок, поднесла к уху и послушала, как он скрипит, а потом вставила в джинсы и застегнула на поясе. Это продолжалось долго и вылилось в некий странный ритуал обручения.

Когда мы вышли на Литейный, прямо рядом с нами из трамвая вышел Вайнер-Комбайнер, большой, ужасно довольный и абсолютно пьяный. Он улыбнулся, увидев меня, еще шире, чем улыбался до этого, с трудом, но чрезвычайно галантно подошел и вынул из кармана замученную головку тюльпана на коротенькой оборванной ножке. Кому он ее нес?

Вайнер был пьян, но не глуп, поэтому он молчал, удерживая внутри себя алкогольные пары и пьяные излияния, искусно балансируя, перенося центр тяжести своего огромного тела из стороны в сторону. Так странно, совсем недавно мы вспоминали его, и я узнала, что он скоро уезжает с мамой в Израиль. Вайнер, который жил этажом выше, спускал мне на ниточке любовные записки и в третьем классе твердо решил жениться, теперь, вместо того чтобы жениться на мне, поедет в Израиль. Что он там забыл, интересно, и кому он там нужен – своей маме? Мы распрощались, и, проходя вдоль канала, я бросила цветок в воду, чтобы не огорчать парня и отогнать набегающие воспоминания. Цветок поплыл, как красный цветок лотоса, но не удержался и потонул. Мы долго еще бродили, и, кажется, мальчик провожал меня домой, периодически подтягивая брюки. Шли мы долго, но за разговорами я забыла, куда идем, мы вышли на окраину и уперлись в какой-то старый забор, за которым был сад. Он перелез через забор и в кромешной темноте нарвал на ощупь целый букет прошлогодних высохших цветов, которые перезимовали под снегом и торчали, как причудливый веник. В итоге мы опоздали на метро, и, что примечательно, у нас двоих не набралось денег на такси. Нам светила перспектива ночевать под забором, и, видя, как уже слипаются его глаза, я как старшая, чувствуя ответственность за ребенка, сказала: «Ладно, пошли. Тут неподалеку живут мои родители. Они меня почти два месяца не видели, просили навестить,

а во сколько – не уточнили».

Открывать дверь вышла мама. Она спрашивала спросонья: «Кто там?» – таким родным голосом, что мне стало больно и за нее и за себя. Все спали, мы с мамой прошли на кухню. Без особой радости, но и без скандала мама постелила мальчику в гостиной, а я легла в своей комнате, которая так и была моей комнатой – здесь все оставалось по-старому, и мама ждала (теперь уже меньше), когда я вернусь сюда. Но, уйдя от мужа, я отказалась жить с родителями (вернее, с мамой и отчимом) и снимала квартиру. Отчим был неплохой мужик, но он был мне никто, при этом думал, что именно он знает, как я должна жить, и в этой связи был просто не интересен. А я командовала в своей квартире, курила в постели, швыряла одежду, стучала в стенку соседям, когда те не давали спать. Мама почти не звонила, я тоже. Она была обижена и показывала свой характер, а я свой. Иногда, когда мне было совсем грустно, я звонила ей и говорила: «Ты не можешь меня разбудить завтра в девять часов, у меня сломался будильник?».

Ровно в девять звонил телефон – мать всегда отличало чувство долга и аккуратность. Была ли она когда-нибудь счастлива – не знаю. Я не сразу брала трубку, затаптывала в пепельнице сигарету, будто мама могла ее увидеть, и, как спросонья, спрашивала: «Да кто там?». А мама говорила: «Доча, пора вставать». Как раньше: «Доча, пора вставать, опоздаешь в школу…»

Будние дни летели кувырком, ни на что не хватало времени. Мусор накапливался неизвестно откуда, но я дала себе зарок ничего не готовить, кроме кофе, и покупать только то, что можно съесть, не разогревая. И стало почище. А в выходные делала вид, что я не одна, и даже представляла, что кто-то подает мне кофе в постель.

Я ставила рядом с кроватью табуретку, все приносила на нее, забиралась под одеяло и приговаривала: «Вот тебе чашечка хорошего кофе в постель, а вот тебе сигаретка, только смотри не прожги простыню». Потом врубала телик и смотрела всякую чушь как последняя идиотка, а после плелась мыть за собой чашку.

И вот теперь я впервые лежала в своей кровати, смотрела в потолок с протечкой, которой было неизвестно сколько лет, разглядывала свои игрушки, и мне казалось, что я маленькая девочка, что за дверью сидят мама и папа и что сейчас папа зайдет тихонечко и, думая, что ребенок спит, ткнется осторожно в щеку – поцарапает щетиной, немножко больно, но все равно приятно.

В это время дверь действительно отворилась, и я увидела, что кто-то идет поцеловать меня перед сном – явно не папа. Фигура просунулась в дверь и нерешительно встала посреди комнаты.

«Ну что, Дон-Жуан, не спится на новом месте или замерз? – шепотом спросила я. – Может быть, дать еще одеяло?» Он держался как мужчина, мне не удалось сбить его

с толку, он преодолел еще три метра и присел на краешек моей постели. Сделал небольшую передышку и наконец юркнул, как мышонок в нору, ко мне под одеяло. Молча прижался ко мне и затих. Я тоже молчала и прислушивалась к своим ощущениям: ощущение было совсем не такое, какое бывало в постели с мужчиной, казалось, будто рядом с тобой отогревается подобранный на улице щенок, которому было так одиноко, холодно и грустно, а теперь вдруг откуда ни возьмись появился хозяин, который снова рядом, и больше ничего не нужно. Он отогрелся, и ощущения изменились, по крайней мере внешние: наверху, я почувствовала, кто-то гулко и часто бухает в плечо, а внизу кто-то настойчиво упирается в ногу. Это продолжалось долго, эти двое толкались в меня, один наверху, другой внизу, пока я наконец не обернулась и не спросила: «Ну что, так всю ночь будешь упираться в меня и не дашь сомкнуть глаза? Ползи сюда». И стала снимать ночную рубашку.

В любви он был совершенно бестолковым, жутко скрипел кроватью, и мне было жалко маму, которая, наверное, не спит и злится или, не дай бог, плачет. Родить бы от такого, а там прожить можно и без мужа, в старости буду говорить, как моя начальница на бабских посиделках: «Был в юности мальчик – от мальчика осталась девочка». Парень явно думал о другом. Мне не хотелось его обидеть, но он, видимо, чувствовал, что делает что-то не так, и через пять минут все начинал сначала. Когда он перелезал через меня, у него дро-

жали ноги, и я некстати вспомнила, как водила своего любимого пса еще бестолковым щенком на первую вязку. Он так беспокоился, нервничал, что у него ничего не получается, и у него жутко дрожали лапы, а сучка стояла, как корова, и ей его было абсолютно не жалко, не говоря уже о ее хозяйке, которой было вообще на все наплевать.

Я лежала, думала о собаке, а когда пауза затянулась, поднялась на локте и поняла, что мальчик уснул. Я слышала, как мама скрипит кроватью, и думала, что жить с ней в одном доме все равно бы не смогла. Жалеть ее и выслушивать оскорбления. Мальчик спал тихо-тихо и улыбался во сне. Когда я утром ушла на кухню сварить кофе, он так и остался предательски спать в моей постели. Будить его и делать вид, что мы не виделись со вчерашнего вечера, было глупо и не по возрасту. Да и зачем, когда сестра и так за глаза зовет меня шлюхой.

Завтрак был готов, все собрались на кухне: мама, отчим, сестра Маша, здоровая дылда и абсолютная дура, у которой всегда был отец, и, может быть, за это я ее недолюбливала, а она меня ненавидела потому, что за мной всегда мужики толпами ходили, а она на всех своих дискотеках завалящего подобрать не могла.

Все сидели за кухонным столом, за которым я не раз делала уроки, на нем до сих пор сохранились мои надписи шариковой ручкой. Теперь этот стол был как бы чужой, и люди, сидящие за ним, – тоже чужие. Рядом со столом распо-

лагалось окно. Окно упиралось в стену сразу двух домов, и для того, чтобы узнать, какая на улице погода, мне всегда приходилось подходить вплотную к стеклу, выворачивать до невозможности шею и смотреть влево и вверх – тогда можно было увидеть кусочек синего неба и край освещенной крыши или серое небо и мокрую крышу.

Я вернулась в комнату, где было все так же тихо. Не покормить парня после такой ночи было бы просто свинством, и я продекламировала довольно громко: «Вставайте, юноша, завтрак подан, вся семья жаждет с вами познакомиться». Он проснулся и, кажется, толком не мог понять, где именно. Я принесла его одежду, штаны без ремня и примирительно сказала: «Не пугайся, сразу жениться не обязательно, можешь немного осмотреться, познакомиться с папой и мамой». Парень явно не мог врубиться, что происходит, но я безжалостно продолжала: «Смелее, юноша, раз уж вы имели наглость опозорить честную девушку в глазах всех ее родственников, имейте мужество отвечать за свои поступки. Ну, ладно, – более дружески продолжала я, – не дрейфь: пути к отходу все равно отрезаны, не будешь же ты прыгать в окно. Так что можешь смело сходить в туалет и ванную, путь туда как раз проходит через кухню. Уверена: все в сборе и им просто кусок в горло не полезет, пока на тебя не посмотрят. Кстати, в туалете неплохо бы покурить. Я потом скажу, что это ты накурил, а не я. И вот еще: возьми, это тебе от меня новая зубная щетка – припасена специально для такого тор-

жественного случая».

Он сидел на краешке стула, пил горячий кофе, а я чувствовала себя, с одной стороны, по-идиотски, а с другой – совершенно классно. Я читала все мысли своих родственничков и понимала их лучше, чем они сами себя. У них все правильно в жизни, но то, что мне можно – им нельзя! Вот они сидят и знают, что я могу жить, как мне хочется, а они нет, и парень этот – мой, и это он для меня готов снять последний ремень и рубашку! Им в душе завидно, а делают вид, что за меня обидно.

Парень ушел, вежливо попрощавшись, а я закрутилась в делах, поскольку буквально на следующий день должна была уезжать в археологическую экспедицию на раскопки в какую-то тмутаракань, в Среднюю Азию, куда не ходят пароходы и не ездят поезда. За делами и сборами я и не вспоминала про парня, попрощалась с ним мельком по телефону и даже не сказала, когда вернусь. Через пять дней эпизод с милым мальчиком почти стерся из памяти, уступив место новым впечатлениям. Взрослым мужчинам, которые носили бороды, искали следы древних цивилизаций, писали книги и так же уверенно держали в руках кирку, как древние легионеры – топоры.

Конечно, у меня начался роман с одним из них. Впрочем, жить с мужчинами и не завести роман было для меня противоестественно.

Он приходил ко мне в палатку, рассказывал о своей рабо-

те, о творческих планах, о том, что смешного говорят его дети, о том, какой хороший человек его жена и как сильно они отдалились друг от друга. Он говорил о людях и о проблемах, которые ждали его в Ленинграде, потом начинал потирать руки одна об другую, повторял как команду: «Господи, холод-то какой!» – и только после этого деловито лез ко мне в спальный мешок, и мы занимались любовью, а потом долго смотрели на небо через полог палатки.

Вот тут и случилась неприятная история, из-за которой, собственно, и начат весь этот рассказ. Не помню уже, обмолвилась ли я о названии местечка, в котором велись раскопки, или мальчик узнал это сам через археологический институт, но только, как выяснилось, он почти три недели искал меня, плыл, летел, ехал автостопом и наконец нашел. Дошел он до лагеря ночью, всех перебудил и в итоге добрался-таки и до моей палатки. До сих пор не пойму, как у него очутился в руках нож и как он успел ударить выскочившего из мешка археолога. Слава богу, попал в плечо и поранил несильно. Парня схватили, разбили нос, держали и выворачивали из руки нож. Я хорошо запомнила его белое лицо, было рано еще. Лицо белое, и под носом темная кровь. Когда совсем рассвело, он куда-то пропал. В милицию никто, конечно, заявлять не стал, да и до ближайшего центра три часа езды. Археолог быстро поправился, но ходить в палатку и проситься в мешок перестал. Экспедиция закончилась, я вернулась в Питер… Потом было много чего. Я редко заез-

жала в родительский дом, но каждый раз проверяла, стоит ли в гостиной на пианино сухой букет-веник: он пережил все цветы в этом доме, из тех, что мне когда-то дарили. Но потом, видимо, и он куда-то исчез. И вот только недавно, приехав помочь старикам и разобрав завалы советских журналов на пианино, я открыла крышку и на желтых клавишах обнаружила иголки от елки с какого-то давно минувшего Нового года и обломки того самого букета. Потом и их не осталось, а вот плетеный кожаный ремень, который удивительно громко скрипит, я слушаю до сих пор каждый раз, когда расстегиваю штаны.

2000

Последняя встреча

Тогда он и в школу еще не ходил. Прожил свою короткую жизнь в деревне, и даже Москвы никогда не видел. А между тем это был уже маленький мужчина пяти лет. В этом возрасте все проще – люди подходят друг к другу и спрашивают: «Как тебя зовут?» – «А тебя?» – вот уже вроде бы и приятели. Но это знакомство было не просто знакомство.

Вику родители привезли в деревню поправить здоровье, и раньше ее там никто не видел. А девочка, конечно, была особенная, и звали ее непривычно – Вика: глаза голубые, добрые и озорные, а волосы светлые, почти белые, и обстрижены необычно коротко, прямо как у мальчишки. Са-

ма непоседливая, легкая. Они целый день бегали по деревне. Вика, хоть и маленькая, а столько всего знает. Например, как сделать «секрет».

Зарыли вместе осколок стекла, положили под него цветок шиповника и сверху земли насыпали: землю разгребаешь над стеклом, и видно, как цветок под землей лежит в своей могилке. А знают про этот секрет только те, кто его зарыл, и об этом никому нельзя говорить. Потом девочка сажала его под куст и говорила: «Ты едешь на лифте в подземное царство», и он чувствовал, как лифт едет – хоть и медленно, а все равно сердце замирает так приятно и немножко жутко. Вечером Вика варила ему суп из рябины в консервной банке. С Викой было в сто раз лучше, чем с другими. А как они полоскали руки в бочке с водой! Вода грязная, холодная, и по ней водомерки бегают. У Вики замерзли руки, и она дала ему погреть свои пальчики. Он их грел и заметил, что на одном пальце родинка – маленькая, почти незаметная. В пять лет неделя как месяц, дни долго текут, казалось, что с Викой они всю жизнь знакомы и что другой такой лучше ее и придумать невозможно. Вечером хотелось уснуть поскорее, чтобы наступило завтра. А утром хотелось отвертеться от родительских заданий, встретиться и начать все с начала.

Но в пять лет разве ты хозяин жизни? За тебя все решают родители: что тебе делать, где жить, с кем быть.

Совершенно неожиданно родители увезли девочку

в Москву.

Он никогда не был в Москве, не мечтал туда попасть и весьма отдаленно представлял себе, как она выглядит. Да и как можно представить себе огромный город, когда ты его еще никогда в жизни не видел. Прошла неделя, ребят во дворе много, но ни с кем нельзя побежать и раскопать землю над стеклом, ни с кем не хочется полоскать руки в воде.

Он пытался представить, что Вика делает без него, о чем она думает, думает ли она о нем. А еще он задавал себе вопрос: как же узнать, думает она о нем или нет, и увидятся они когда-нибудь или нет?

Жизнь – длинная штука. Прошло много времени, и сколько же всего случилось: сначала была школа (целая жизнь), потом институт – столица, совсем другая жизнь, потом еще одна – семья, дети. Тоже отдельная жизнь, в которой, казалось, все было заполнено до краев, все занято: жена, сын, работа, куча забот и дел, которые шли своим чередом. Как говорится, слава богу.

И вот однажды, возвращаясь не поздно с работы, он шел мимо парка и увидел Вику.

Это было так странно: человек вырос, а узнать его можно с первого взгляда: глаза такие же голубые, добрые и озорные, а волосы светлые, почти белые, и обстрижены необычно коротко, прямо как у мальчишки. Они бродили целый вечер по парку. Вика совсем не изменилась, была все такая же непоседливая, легкая, а главное, она помнила про зарытое

в землю стекло с цветком шиповника и про то, как варили рябину в консервной банке. Когда стемнело, они подошли к пруду и стали полоскать руки в воде. Вода была по-осеннему холодная, и Вика дала ему погреть свою замерзшую руку.

Он ее грел и заметил, что родинка не видна под кольцом. Хотелось встретиться назавтра и начать все сначала. Но и в тридцать лет человек не властен над обстоятельствами. Как оказалось, муж ее, немец, заканчивает работу по контракту и вскоре уезжает со всей семьей в Германию, насовсем. Это были советские времена, и за границу уезжали действительно насовсем. Он никогда не был за границей, для него это был совсем другой мир. Как можно представить, что происходит в Германии, когда ты там никогда не был. Прошла неделя, он и не думал о возможности побывать за рубежом, это казалось совершенно нереальным. Просто ему было жаль, что Вики нет рядом. Знакомых вокруг много, но никто не знает про зарытый цветок шиповника, ни с кем не хочется полоскать в холодной воде руки. Как ни пытался, он не мог представить, что Вика делает без него, о чем она думает, думает ли она о нем и как ему точно узнать, думает она о нем или нет.

Потом опять было много всего: работа, школа детей, потом их институт, а там следом внуки.

В стране произошла смена строя, стал свободным выезд за рубеж, и как-то так случилось, что в составе туристической пенсионного возраста группы он оказался в Германии,

шел после экскурсии по парку и встретил Вику. Она почти не изменилась: глаза голубые, добрые и озорные, а волосы светлые, почти белые и обстрижены необычно коротко, прямо как у мальчишки. Бродили почти целый вечер по парку, и он удивлялся: как странно, они вместе там, куда он раньше даже не мечтал попасть. Вспомнили детство, деревню, зарытое в землю стекло, потом сидели под деревом на его куртке, и обоим казалось, что они едут на лифте в подземное царство медленно, но так явственно, что даже немного жутко. Он провожал ее до метро, народу на улицах практически не было, ветер был почти зимний, холодный, и все же, проходя мимо городского фонтанчика, они остановились (Вика сняла перчатки) и стали полоскать руки в воде. Он обратил внимание, что на ее пальце нет кольца, и опять стала заметна маленькая родинка. Хотелось встретиться назавтра, рассказать, как прошли все эти годы, сколько всего было, узнать о человеке, с которым не виделся всю жизнь. И главное, так оказалось, что обстоятельств, которые помешали бы им встретиться и повторить этот день, уже нет: дети выросли, внуки подросли, супруги отдалились. Они договорились о встрече на следующий вечер. Он первый раз пришел к ней на свиданье, купил цветы и прождал ее столько, сколько не ждал ни одну женщину в своей жизни, а потом пошел в гостиницу, отыскал в справочной книге ее имя и поехал по указанному адресу.

Это был красивый особнячок с палисадником, в котором

суетились люди, было ясно, что что-то случилось. У ворот стояло несколько машин. От водителя он узнал, что ночью хозяйка умерла от приступа стенокардии.

Каждый раз она уходила от него неожиданно. Прошла неделя, он вернулся в Москву и все не мог понять, что произошло, куда так внезапно исчезла Вика. Да и что можно сказать про мир, в котором ты никогда не был. Как можно представить, что там. Ему как никогда не хватало ее (не то что бы даже рядом, а вообще). Людей на земле так много, а ее нет. Он хотел и не мог представить, где именно она сейчас находится, думает она о нем или нет, а главное, увидятся ли они еще когда-нибудь или этого им уже не суждено.

2000

Изобретательская жилка

У брата проблемы со слухом, но есть изобретательская жилка. Поэтому проблемы свои он компенсирует редкостными усовершенствованиями. Например, он давным-давно приспособил к телевизору динамик от старых наушников на длинном проводе. В детстве такие наушники у нас были в школе в лингафонном кабинете. А в юности эти черные шайбы из плотного пластика у многих валялись в ящиках со всякой всячиной. Вы скажете, что динамик на проводе изобретение рядовое, но не торопитесь.

Вот послушайте, какие брат рассказывал подробности:

«Наушник я приделал к телевизору давно, но прикладывать его к уху и все время держать утомительно. Да к тому же сквозняки, которых уши мои не переносят. Сделал я тогда себе что-то наподобие чалмы. Свернул полотенце, прихватил на живую нитку, сделал складочку, куда вставляется наушник, и стало гораздо удобнее. Получилось нечто вроде танкового шлема с наушником в восточном исполнении. Изобретение мне настолько понравилось, что я его еще несколько раз усовершенствовал. Сначала удлинил провод, чтобы на кухню можно было уходить. Смотришь ты, к примеру, детектив. Вышел попить, или еще зачем – изображения нет, но по диалогам все ясно. Вернулся – все понимаешь. Потом сделал провод еще длиннее и стал на лестничную площадку выходить покурить. Тут вообще красота: сижу, в руке сигарета, под чалмой динамик говорит, в окно дымок плывет. В чалме тепло, новости слушаю и сам себя уважаю. Телевизор ведь это то же радио, только с изображением. Единственная проблема, когда ходишь туда-сюда, провод закручивается и, в конце концов, превращается в жгут, который за собой уже не потаскаешь. И размотать его целая проблема. Но я и тут оригинальный способ придумал. Поднимаю провод над головой и, держа его над чалмой, сам начинаю вращаться в нужном направлении. Правда, когда с моим вестибулярным аппаратом крутишься, голова кружится. Но если закрыть глаза, то все нормально. И вот, как то вышел я вот так покурить в коридорчик в своей чалме. Прику-

рил, смотрю – провод опять в спираль скрутился. Причем, я как это увидел, сразу прикинул: восемь оборотов против часовой стрелки. Поднял правой рукой шнур над головой, взял сигарету в левую руку, закрыл глаза и делаю свои восемь оборотов. А тут, видимо, лифт пришел – люди в гости к кому-то на наш этаж приехали. Это я уже позднее понял. Когда они только приехали и раскрылись дверцы лифта, я ничего не видел и не слышал. Во-первых, я слышу плохо, во вторых не вижу, а в третьих динамик орет на полную. Я когда глаза открыл, передо мной кабина лифта, а там люди стоят и не выходят: видимо, смотрели, как я спираль раскручивал. Я думал, они изобретением заинтересовались и какие-то вопросы будут, а они, похоже, просто ничего не поняли. Чтобы чужую находку перенять, тоже нужна изобретательская жилка».

2010

Другая культура

Работал я тогда в компании Samsung Aerospace. В основном отвечал за техническую экспертизу, но не только: например, на встречах и переговорах приходилось выступать в качестве переводчика. И хоть я закончил английскую спецшколу и поучился к тому времени за рубежом, практику языковую имел не большую. Техническую авиационную лексику я быстро подтянул, а вот с бытовой были трудности. Приме-

ром тому вспоминается такой случай.

Был я в составе корейской делегации с визитом на знаменитый украинский завод «Моторсич». Год девяносто второй, кажется – отношения с украинцами самые теплые, а с корейцами настороженные – только начал с ними работать, прошел испытательный срок, но еще никак не зарекомендовал себя. Я к ним присматриваюсь, они проверяют, насколько я справляюсь со своими обязанностями.

Командировка прошла успешно, в последний день часов в шесть деловые встречи и рабочие переговоры закончились, экскурсии по заводу завершились, и нас повезли в ресторан. А надо сказать, что на заводе в тот день было две делегации такого уровня, на которых должно было отметиться высшее начальство – корейская и итальянская. И если на экскурсиях мы лишь слегка соприкасались с итальянцами, то на ужине всех иностранных гостей было решено усадить за одним столом.

Расселись, тосты, речи, здравицы и два переводчика. Мой коллега переводил с русского на итальянский и обратно, а я, соответственно, с русского на английский и с английского на русский.

Часам к девяти застолье подошло к фазе, когда все комплименты сказаны, выпито уже очень изрядно и банкет переходит в неформальную фазу. Тут вдруг встает итальянец и, пьяно улыбаясь, говорит что-то, а переводчик переводит: «Анекдот про карабинеров». Итальянец, видать, вспомнил

про себя этот анекдот и уже смеется, поэтому понять, что он говорит довольно трудно. Но смотреть на него приятно, даже весело – вот он сказал первую фразу и все итальянцы тут же начинают ржать. Переводчик с итальянского переводит: «Сколько раз карабинеры покупают билеты в кинотеатр?» Итальянцы перевод встречают новым взрывом хохота, видимо ожидая, что после перевода этой фразы будут хохотать все остальные. Русские тоже начинают смеяться, но не потому, что услышали что-то смешное, а потому, что не смеяться, глядя на итальянцев, просто невозможно. Корейцы с нетерпением ждут перевода, для того чтобы быть со всеми в одном информационном поле. Соответственно, все смотрят на меня, я перевожу на английский: «Сколько раз карабинеры покупают билеты в кинотеатр?» – к этому моменту смеются все, кроме корейцев. Наконец, рассказчик справляется с собой и выдает вторую часть дурацкого анекдота: «До десяти раз, потому что контролер каждый раз рвет билеты». Итальянцы, видимо, все знают этот анекдот, но услышав концовку, начинают всхлипывать, сучить ногами и сползать под стол. Один итальянец начинает истошно кричать что-то типа «Прекратите, или я умру от смеха!», как мне, по крайне мере, показалось. Переводчик с итальянского повторяет фразу на русском. Наши, дослушав, начинают смеяться сильнее. Я, пытаясь перекричать смех компании, выдаю концовку на английском: «До десяти раз, потому что контролер каждый раз рвет билеты». Корейцы не меняются

в лице, но сразу спрашивать, в чем дело, им, видимо, не позволяет бизнес-этика. Я пытаюсь честно выполнить свой долг и объясняю на своем не сильно родном английском, что карабинеры хотят идти в кино с билетом, потому что они полицейские и должны соблюдать правила, а контролер их каждый раз лишает билета, и они поэтому идут покупать новый, и так десять раз подряд, и, конечно, это очень смешно. Корейцы переглядываются, смотрят друг на друга, потом на директора, как он отреагирует. Директор скупо улыбается, после чего примерно такой же вид принимает и вся делегация.

Среди корейской делегации есть мой непосредственный начальник, он глядит на меня очень строго, он подозревает, что я пропустил или нарочно скрыл что-то важное в переводе, из-за чего корейская делегация оказалась не на уровне. Корейцы начинают разговаривать между собой по-корейски, видимо высказывая разные версии, почему все смеются и в чем суть анекдота. Я не успеваю реабилитироваться, как слово берет начальник иностранного отдела с украинской стороны и, как говорится, с места в карьер начинает вещать:

– Встречаются как-то Мыкола и Степан, и у Степана все пальцы на руках в бинтах. Мыкола спрашивает:

– Шо это у тебя, Степан, уси пальцы забинтованы?

Услышав русско-украинскую речь и видя подавляемый восторг, с которыми наш украинский коллега предвкушает неизбежно приближающуюся кульминацию анекдота, ита-

льянцы, не дожидаясь перевода, вновь начинают ржать и сучить ногами. Наши все-таки ждут продолжения, корейцы начинают тяготиться чужим праздником.

Поскольку английский язык международный, итальянцы дают знак своему переводчику, что они все понимают по-английски и что, мол, с русского на итальянский можно не переводить. Я становлюсь центром притяжения всех взглядов за столом и все глубже осознаю, как я влип.

И тут начальник иностранного отдела завершает свой предательский анекдот:

– Жена мышеловки расставила в кладовке, а попал в них я!

– Та як же ты умудрился?

– Да она, зараза, их на сало ловит!!!

Не буду подробно рассказывать, как я пытался объяснить корейцам, что Мыкола любит «свиной жир» больше, чем мыши. Чем дольше я говорил, тем озабоченнее становились мои корейские коллеги. Моя карьера переводчика была на грани фола, и тут вдруг мне на помощь пришел умница руководитель нашей корейской делегации. Он сказал моему начальнику и всему корейскому крылу: «Do not worry – different culture!»

2017

Свалка, звезды, рок-н-ролл

Будильник звонил в один и тот же час, вернее, в пять часов, и каждый раз в это время Петрович проклинал все на свете. Он надеялся, что организм привыкнет к такому режиму, а организм, видимо, рассчитывал на то, что сам Петрович перестроится на другой.

Особенно было обидно просыпаться в понедельник.

А почему? – рассуждал Петрович.

Да потому, что в субботу, воскресенье люди расслабились, поспали до обеда, выпили, культурно посидели, а тут – бац, все снова-здорово. Петрович был семейным человеком, но семья жила несколько в другом ритме, а потому пересекался он с ней нечасто. Да и интересы у всех были разные: у него – мужские, у жены – женские, у сына с дочерью – подростковые.

Петрович по утрам командовал на кухне, курил в форточку, заваривал чай, вынимал из холодильника «сухой паек» (обычно кусок колбасы и плавленого сыра), который жена с вечера клала в отдельный пакет. После завтрака ехал на завод и вкалывал до обеда, потом шел вместе со всеми в столовую – это был приятный момент в его жизни. Во-первых, всегда было интересно, что дадут на обед, а потом вообще – коллективное мероприятие.

Пообедал – считай, и день прошел. Как в армии когда-то

говорили: в обед масло съел – считай, еще день кончился. Служил Петрович давно. Как из армии вернулся – женился, пошел работать, родился сын, следом дочка, от завода дали квартиру. Вот, кажется, и вся биография.

После обеда Петрович еще вкалывал, затем втискивался рабочим плечом в автобус, потом опускал жетон в метро, проходил как сквозь строй через толпу спекулянтов, покупал пачку сигарет, закуривал на ветру, вот, глядишь, и дом стоит – куда ж ему деться.

Дома была жена. Жену звали Клавой. Клава подняла на ноги детей, везла на себе дом, и с этим, кажется, уже ничего нельзя было поделать. В самом начале их совместной жизни Петрович вбегал домой и Клава висла у него на шее – это быстро кончилось, затем был долгий период, когда Клава ждала его и просто встречала, потом еще долго было так, что он любил приходить домой просто потому, что там находилась Клава. С годами и это прошло. Были времена – Клава наряжалась к приходу его друзей, ставила на стол бутылку. Однажды с женой ездили в Воронеж и там ходили на танцы. А как-то раз сильно болела дочка и они всю ночь вместе простояли под окнами больницы; наутро дочери полегчало. Петрович нес дочку, завернутую в одеяло, а жена шагала рядом. Вроде много чего между ними было, и все куда-то подевалось. Отношения складывались не простые. Главное, он не мог понять, чего не хватает Клаве: то ли ей не хватало нежности от Петровича, то ли Петрович ей казался черес-

чур нежным. Он не мог объяснить, с чего Клава становилась вдруг иногда доброй: сидит на кухне и в окно глядит или кота гладит. И подходи к ней в этот момент, проси чего хочешь – последнюю поллитру вытащит из такого закутка, в котором сам ее не найдешь даже в период жестокого похмелья. В такие дни Петрович раскисал, много говорил и, видимо, портил все дело. Эти периоды он не мог ни предугадать, ни связать со своим поведением, ни вывести из женской физиологии, в силу отсутствия в них какой бы то ни было периодичности.

Итак, вторник проходил по тому же сценарию, что и понедельник. И только в среду, почему-то именно в среду, Петрович начинал ждать выходных. Эти мысли о конце недели скрашивали обиды на мастера и досаду на Клаву. Дни бежали быстрее, и вот, наконец, приходила пятница, такой же рабочий день, как и все остальные, и в то же время такой отличный от них.

В пятницу Петрович спокойно дожидался конца рабочего дня, отстаивал очередь в винном отделе и только тут ощущал удовлетворение, творческий подъем и чувство свободы. Он шел не спеша, с удовольствием отмечая ритмичное постукивание бутылки, радовался жизни, как радуется жизни солдат в увольнительной, и так же открыто и по-доброму смотрел на людей.

В ту пятницу, о который идет речь, Петрович направился прямо домой. К друзьям не тянуло – тянуло в семью,

хотелось разговора про отметки, про то, как нелегко нынче учиться, про то, что отец мог бы побольше заниматься с детьми.

Дома было пусто. Петрович прошел на кухню, открыл бутылку и выпил. Никто не мешал наслаждаться жизнью, но чего-то не хватало. То ли компании, то ли чего-то еще. Он заглянул в комнату сына, посмотрел на плакат с изображением мужика с зелеными волосами и малиновыми губами. Взял транзисторный радиоприемник, вернулся обратно на кухню и выпил еще: стало немного обидно, что праздник проходит в одиночестве. Петрович включил приемник, крутил колесико и выхватывал из эфира обрывки каких-то песен, и вдруг из динамика послышалась человеческая речь.

Диктор бодрым голосом объявил: «В эфире передача „Ровесник“, клуб „Посредник“». Петрович заинтересовался, а диктор тем временем продолжал:

– А еще нам написала Рита из Зеленограда, и я с удовольствием прочитаю ее письмо. – И чтение письма пошло уже другим, бойким девичьим голосом: «Дорогой „Ровесник“, дорогой клуб „Посредник“, я надеюсь, ты мне поможешь. Мне семнадцать лет, я очень люблю мороженое, рок-н-ролл, верю в белую магию, люблю смотреть на звезды, обожаю свалки машин и металлолома».

Петровича почему-то все больше занимало это письмо. Он вдруг живо представил эту свалку металлолома где-нибудь под Москвой возле железнодорожной насыпи. Лежат

себе под дождями перегоревшие электродвигатели с мотками рыжей проволоки, ржавые болты, а рядом колесо от грузовика – большое, тяжелое, а поблизости деталь от велосипеда. И мысли так и лезут в голову: вот из этого можно было бы вытащить подшипник, из того – проволоку, а вот просто отличная железяка – когда такая понадобится, ее нигде и никогда не сыщешь, а сейчас она лежит, елки-палки, и на тебя смотрит.

Дикторша продолжала читать письмо дальше: «А еще я люблю новостройки, особенно весной. Люблю свежевымытые окна, только порой мне очень одиноко и не с кем поделиться своими мыслями: кто мы и зачем живем на этом свете?!

Пусть все, кто меня сейчас слышит, напишут мне по адресу: Москва, Зеленоград, улица Ленина, 5, квартира 8».

Петрович даже сигарету загасил, так поразил его этот рассказ. Он вдруг представил, как напишет письмо этой Рите, они сядут на подмосковную электричку, выйдут в районе дальней новостройки, отыщут за насыпью свалку, расположатся на огромном резиновом протекторе от грузовика и станут смотреть на проходящие электрички. А когда на весеннем небе появятся звезды, они будут долго говорить о том, кто они такие и зачем живут на этом свете!

1995

Закурить не найдется?

Раннее воскресное утро было по-осеннему сереньким. Накрапывал противный дождик. Вдоль длинной безлюдной улицы ехал мокрый рогатый троллейбус, без единого пассажира. На углу в будке стоял усатый милиционер, которому и посвистеть-то было некому.

В такие часы все нормальные люди либо еще спят, либо потягиваются в своих мягких постелях. И в это самое время я брел по улице в продуктовый магазин и думал, как бездарно прошел вчера день и как бестолково начинается сегодня. Снизу сквозь расклешенные брючины поддувало на голые ноги, сверху в лицо летела водяная пыль.

Ботинки на тоненькой подошве промокли, из-за чего я уже, честно говоря, даже не расстраивался и брел ни на что не обращая внимания, пока мой взгляд не привлек мужчина. Он появился из переулка, шел мне навстречу, катил перед собой двухместную коляску и держал в руке авоську с двумя пакетами картошки. Через минуту я смог рассмотреть папашу. На нем промокал защитного цвета плащик, ботинки явно просили каши, а в глазах было выражение, которое бывает у человека, когда он собирается виновато и глупо улыбнуться. Мы поравнялись. Он посмотрел на меня и явно хотел что-то сказать, но не нашелся. Я уже собирался пройти мимо, но вдруг спохватился и спросил: «Закурить не найдет-

ся?» Он тут же остановился, утвердительно закивал, положил авоську в сетку под коляской и захлопал себя по карманам, как будто потерял что-то важное, потом успокоительно улыбнулся, вытащил из-под свитера измятую пачку сигарет и вкрадчиво попросил: «Берите две, пожалуйста». Я посмотрел в его грустные глаза и согласился. В это время темно-серый грузовик громыхнул по ближайшей луже и окатил нас с ног до головы.

– Спички-то есть? – участливо спросил он, стирая с мокрого плащика грязь.

– Да я не курю, – ответил я, отряхивая брюки.

– Я тоже, – понимающе ответил он. Добавить было нечего, и мы пошли каждый своей дорогой, проводив друг друга сочувствующими взглядами.

1985

Игры для взрослых

Приехали с Ольгой в Питер на выходные – погулять, отдохнуть. Бродим по улочкам расслабленные, довольные. А у жены моей кроме самых разных достоинств есть еще и такое: она может ходить по городу часами и совсем не тянет мужа к разным ювелирным лавкам, бутикам… Она даже мне не дает зайти в магазин и говорит что-нибудь типа: «Мы что, сюда в магазин приехали?» Тем более я удивился, когда мы вдруг неожиданно оказались на шопинге. А бы-

ло это так. Идем по какой-то пустынной, явно нецентральной, улочке: желто-серые питерские жилые дома, и вдруг вывеска «Игры для детей и взрослых». Я на нее почти не среагировал, а Ольга мне говорит: – Зайдем?«Зачем бы, – думаю, – дети у нас уже выросли», – но как человек покладистый быстро согласился. Заходим. Одна большая комната и полки, полки – много полок, и везде игры, причем, не игрушки, а именно игры в броской упаковке. От такого изобилия и ребенок, который знает, что ему нужно, растеряется, а я как в чужой мир попал. В торговом зале один скучающий продавец – мужчина лет сорока – и никого из посетителей, видимо, с самого утра. Хозяин игр сразу оживился и к нам: мол, чем интересуетесь. Я чувствую себя слегка растерянно, а жена, нимало не смутившись, спрашивает: – Скажите, у вас есть игры для взрослых? Тут, напротив, продавец слегка стушевался. А я, чтобы развеять неловкость, пришел жене на помощь: – Ну, «для взрослых» в смысле на наш возраст. Мы для себя хотим приобрести. Летом, знаете ли, на даче вечером приятно во что-нибудь настольное поиграть… Сказал я это и больше не нашелся, что добавить. За последние тридцать лет ни разу вечером на даче мы с женой, если честно, ни во что такое настольное не играли. Забросил я удочку, а сам на полки смотрю в надежде что-нибудь знакомое увидеть. Тут жена, поддержанная моим комментарием, продолжает беседу: – Может быть, что-то посоветуете в этом роде? А я как раз разглядываю башенку из палочек с номерами.

И видя, что жене добавить нечего, опять вступаю в диалог: – В чем, например, суть игры с палочками? Мужик обрел конкретику и начал показывать: – Вот смотрите, вы потянули за палочку и вытянули ее из башенки, понятно? – Понятно, – говорю, – и что? – Вы вытянули, а башенка не упала. – Понятно… Ольга тоже, вроде, все понимает. – Вот, – объясняет продавец, – кто-то башенку, в конце концов, уронит, и тогда мы все подсчитываем номера на палочках и узнаем, сколько у кого очков. Мы все поняли, и жена спрашивает: – И сколько это стоит? – То, что вы смотрите – это фирменное исполнение, игра из Великобритании, – со знанием дела говорит продавец, – стоит пять тысяч, но есть отечественный аналог немного дешевле. И тут Ольга, всегда такая тактичная, одновременно и меня, и продавца ставит в неловкое положение, обращаясь ко мне с вопросом: – Ты же сам можешь сделать такие палочки? Я тактично молчу. Повисает пауза. – А во что вы обычно играете? – перехватывает инициативу продавец. – Во что мы играем? – оборачивает взгляд на меня жена. Я опять держу паузу. – В бирюльки играете? – с надеждой спрашивает продавец, употребляя знакомое для меня слово. – Нет, – говорю, – в бирюльки – нет. – О, я знаю, что вам предложить, – говорит продавец и приносит набор из тонких круглых палочек, похожих на зубочистки. Мы скромно отказываемся от объяснений смысла игры, берем описание. Отказываться дальше уже явно неловко. Мы берем игру в палочки, но на этом жена не успокаивается и го-

ворит мне шепотом: – Ты что, не помнишь? С палочками было много разных игр, – и тут же добавляет громче: – Так ведь еще шашки были! – Ну, конечно, – говорит продавец, – у нас есть и шашки, и шахматы. – Шахматы это слишком долго, – говорит жена, – а шашки, пожалуй, возьмем. Мы берем палочки и шашки. Ольга, чувствуется, вошла во вкус: – А еще мы в фантики играли. Я делаю знаки, что пора заканчивать, пока нам не принесли фантики. Мы выходим из магазина, но жена не унимается: – Ты что, не помнишь? С палочками, правда, было много игр: клали на дощечку палочки и подбрасывали вверх, а еще был чижик из палочки, помнишь? И я смутно вспоминаю, что, правда, был чижик: заостренная с концов палочка, по которой били битой – чижик подлетал вверх, крутился в воздухе, и надо было еще поддать по нему битой. Господи, когда же это все было?! – А в шашки сколько было игр, ты помнишь? – не может уйти от воспоминаний жена. – Щелкаешь по шашке, сбиваешь противника. В пионерлагере любимое занятие было. Мы идем по улице, и я думаю о том, как давно это было, какое счастливое это было время, и как это, наверное, здорово – долгим вечером на даче, когда за окном стучит дождь, играть в эти самые шашечки и палочки. Может быть, мы когда-нибудь так и будем играть в эти игры долгим летним вечером вдвоем или с внуками, дай-то Бог…

Путешествие из Купавны В МОСКВУ

Встали мы очень рано – часов в одиннадцать. Быстро закончили утренний туалет и уже в двенадцать сели завтракать. Это был самый обычный трудовой день, и поэтому я должен был ехать в Москву на практику, папа на работу, а мама оставалась дома готовить. После завтрака оказалось, что, несмотря на спешку, мы опаздываем и что скоро на станции начнется перерыв в движении.

Папа собрался и ждал маму, я собрался и ждал папу, а мама ждала нас обоих и только все время повторяла, что один – как маленький, а другой хуже маленького, то есть папа (любя, конечно). Наконец все были в сборе, и папа отправился в «кошкин домик». Пока папа там находился, погода сильно изменилась. Солнышко спряталось, а по небу поползли тяжелые серые тучи, и пошел дождь. Настроение у всех окончательно испортилось, так как наметился срыв поездки по самой дурацкой причине.

И вдруг, как всегда, на помощь пришла мама со свойственной ей, как она выражается, технической жилкой. Она предложила снять наши приличные костюмы, положить их в сумку на колесиках, одеться в то, чего и промочить не жалко (а такого у нас на даче хоть отбавляй), быстренько добежать до станции, скоренько переодеться и спокойно ехать сухими в Москву на работу – удобно и практично.

Папе мысль очень понравилась, и он азартно приступил к ее исполнению. Он надел чьи-то брюки, старое пальто, которое кто-то лет тридцать назад свез к нам на дачу, потому что оно вышло из моды, боты сестры маминой подруги, которые были ему совсем как раз и лишь слегка хлопали каблучками, и прорезиненную косынку, которая уже давно никому конкретно не принадлежала. Этот костюм, видимо, придал ему решимости, и папа принялся за мое переодевание.

Еще раз услышав, чем отличается настоящий мужчина от пижона, и сраженный маминым аргументом, что «папа уже такой большой, а ничего не стесняется», я оделся как достойный родителя сын, взял сумку на колесиках, и мы отправились.

Шли мы, растянувшись метров на двадцать. Впереди шла мама под зонтом, следом шлепал по лужам своими ботами папа, а сзади на некотором удалении семенил я, таща сумку на колесиках и прикрывая на ходу лицо от случайных прохожих, которые останавливались, несмотря на очень сильный дождик.

Вдруг я услышал вдалеке шум поезда и увидел, что папа резко рванул вперед. Мама очень быстро побежала за ним, наверное, испугалась, что он забудет переодеться и уедет на кафедру в чужих ботах. Я старался не отстать, на всякий случай. Подбежав к станции, мы увидели поезд и тут же услышали протяжный гудок, свидетельствующий о том, что остановки не будет. Поезд был явно не наш, мы облегчен-

но вздохнули, посчитали вагоны, пересекли пути и пошли на платформу. На платформе было много народу, но все уступали нам дорогу, и мы даже протиснулись под навес. И тут папа попросил нас с мамой, чтобы мы его загородили со всех сторон, пока он переоденет штаны и боты. Я понял, что мама колеблется, и наотрез отказался, предложив переодеваться за платформой. Совершенно неожиданно мама, которая так любит папу, перешла на мою сторону, и папе ничего не оставалось, как последовать за нами из-под навеса обратно под дождь. Я норовил отойти подальше от платформы в мокрые кусты, мама тоже была намерена увести папу от любопытных глаз, а папа сопротивлялся, поскольку дождь становился все сильнее. В конце концов ливень так припустил, что даже у меня чувство стыдливости куда-то подевалось, я достал свой и папин костюмы и стал стягивать с себя чью-то лыжную пару. Мама одной рукой прижимала к себе сухие костюмы, прикрывая их своим телом от ветра с дождем, а другой рукой поддерживала папу, который виртуозно балансировал в луже на одной ноге в боте, а с другой ноги снимал не по росту длинную брючину. Те, кому не хватило места на платформе под крышей, и кто наблюдал наше переодевание, звали своих друзей из-под навеса, и, надо сказать, желающих поменять сухое место на забавное зрелище находилось немало.

Вдруг показалась электричка, и интерес толпы переключился на подготовку к взятию поезда на абордаж. Мы закон-

чили переодевание уже при меньшем внимании со стороны зрителей, в последний момент втиснулись в битком набитый тамбур, поневоле касаясь мокрых плащей и корзинок, и даже толком не попрощались. Поезд вздрогнул, и такая родная (теперь опустевшая) платформа вместе с нашей мамой сначала качнулась, а затем поплыла все быстрее, пока пейзаж за мокрым стеклом стал почти незнакомым.

1982

Пятница и суббота

Алексей звонил в дверь уверенным длинным звонком, подталкивал вперед товарища, которому неловко было идти в гости выпивши.

– Ничего-ничего, – говорил Алексей, – ща добавим, пока не выветрилось.

Дверь открылась, и на лестничную площадку, высыпали двое малышей – погодки трех и четырех лет.

– Ах вы, мои засранцы! Ах вы, мои спиногрызики, – расплылся в улыбке папаша, присел до нужного уровня и, качаясь в неудобной позе вприсядку, по очереди поцеловал выбежавших сынишек. Нежная интонация с лихвой покрывала грубость выражений.

– Смена растет! – не без гордости проговорил Алексей, вставая, схватившись за рукав друга, проникая в квартиру и увлекая всех за собой.

Тут уже прыгал, норовя лизнуть в лицо, здоровый пес – немецкая овчарка.

– Мухтар, это свои. Свои, Мухтар! Сейчас он тебя понюхает и больше не тронет, – объяснял Алексей. Но собака была настроена на редкость дружелюбно, так что гость страдал не от агрессии животного, а от любви, настойчиво пытаясь увернуться от поцелуя.

– Не бойся! Умнейший пес, три медали у него.

– Да я вижу, – соглашался товарищ.

– А это Маша, – представил Алексей жену. – Маш, давай сообрази нам чего-нибудь быстренько. Мы не жравши почти. А потом сходи, купи пивка на утро мне.

– Могли бы и сами захватить, пивко-то.

– Кисонька, извини, замотались совсем.

– Мухтар! Сидеть, Мухтар! – Алексей был в центре событий. Теперь он обращался к собаке, которая недовольно садилась, прижимала уши.

– Мухтар, голос! Голос, Мухтар!

Мухтар водил обрамленной седеющими усами мордой, напрягал голосовые связки и выдавливал из себя какое-то старческое покашливание.

– Мухтар, это что, по-твоему, голос? А ну давай как следует.

Мухтар рявкал, смотрел на хозяина и вилял хвостом.

– Леш, поздно уже, соседи спать укладываются.

– Что это они так рано-то? Ладно, иди не мешай. Прине-

си-ка мне кусок колбасы, надо дать собаке за службу.

Жена поплелась на кухню, отрезала кружочек копченой колбасы, передала мужу. Смотрела на знакомую до боли картину. Выражение лица у нее было, как у мамаши, читающей любимую книжку избалованному ребенку, которому давно пора научиться читать.

– На, Мухтар, на, молодец. Жри, скотина такая.

Мухтар проглотил кусок, оглядывал собравшихся, пытаясь понять, дадут еще или нет.

– Ох ты, собака дурная, скотина бестолковая, – приговаривал Алексей, и Мухтар чувствовал всю теплоту его пятничного настроя.

Жена ушла, погремела на кухне кастрюлями, потом опять зашла в прихожую.

– Леш, к нам мама завтра приедет.

– Это еще зачем?

– Что значит зачем, Леш? Это моя мама.

– Да ладно, пусть приезжает. Правда, Мухтар? Чего скулишь? Надо было надрессировать в свое время собаку правильно, чтобы тещу не пускала в квартиру. Теща захочет приехать, ан нет. Собака уже приучена. Да, Мухтар?

– Вы не обращайте внимания, это он так шутит. Он как выпьет лишнего, всегда так странно шутит. Вы вот тапочки надевайте.

– Да что вы, я понимаю, что он шутит, – смущался гость, – а тапочки мне не нужны – у меня носки теплые.

– Ты, Саня, не скромничай, надевай тапочки на свои теплые носки, доставай бутылку и пойдем вмажем.

Расположились, врубили телик, разлили.

– Ну что, Саня, как пошла?

– Хорошо пошла.

– Я тебе, Саня, вот что скажу: с бабами нужно только так. Баба, Саня, она как собака, чует, можно или нельзя. И если ей не сказали: «Фу, нельзя!» – значит, можно, значит, полезет с лапами на диван. Ты вот, Саня, жену свою распустил, она и села тебе на голову. Ты уж извини, я как другу тебе, Саня, говорю.

Саня крепился изо всех сил, ерзал на стуле.

– Или вот еще кто-то мне сказал, – продолжал философствовать Алексей, – женщина, она как вода, сколько ей дай места, столько и займет. Особенно терпеть не могу, когда баба молчит и настроение показывает. Что, мол, не по кайфу ей чего-то там, особенно если при посторонних, не дай бог.

Дверь открылась – на пороге стоял сынишка и держал над головой в двух руках видеокассету.

– Ну, иди сюда не бойся, – приказал Алексей.

– Катета, бляка-мука! – прокомментировал мальчуган, не сдвинувшись с места. Помолчал и добавил: – Катета денег тоит, – развернулся и убежал к матери.

– Чувствуется, Леха, твое воспитание. Мужик цену вещам знает, – похвалил гость.

– А ты думал, – не без гордости соглашался Леха. За две-

рью опять послышалась возня ребенка.

– Сынок, закрой дверь, не мешай теперь нам. Видишь, ко мне дядя пришел. У нас дела. Скажи мамке, чтобы еду поскорее несла.

– О чем-то я, Саня, говорил? Да, о том, что бабу ты свою распустил. Нельзя же так, слушай. Ты понимаешь сам, кто ты такой. Ты, Саня, солдат, офицер! По большому счету, ты, Саня, защитник родины. Она это должна понимать. А то, что она в своем гребаном кооперативе денег больше тебя зарабатывает – это все пустое. Пустое, поверь мне. Деньги, Саня, это что? Это пшик. Да, это я тебе говорю. Главное у человека душа, Саня.

– Я вам крабовый салатик сделаю, Леш. Подойдет? – приоткрыла дверь жена.

– На кой хрен мне крабовый салатик, я русский офицер, – кричал уже не на шутку разошедшийся Леха. – Давай картошку и быстрее.

Саня с восхищением смотрел на Леху. Леха самодовольно принимал молчаливое выражение восторженной зависти.

Посидели, было уже за полночь, когда нетвердыми шагами Леха поплелся провожать товарища к лифту. Жена тоже встала и, уже в халате, помогла проводить друга. Пока поднимался лифт, Леха что-то запел бодрое строевое. Открылась соседская дверь, из которой высунулась тетя Маня.

– Тетя Мань, все свои, закрой дверь, – сказал Леха.

– Вот ведь опять набрался, – недовольно говорила себе

под нос тетя Маня, закрывая на цепочку дверь.

Приехал лифт и увез с собой друга. Леха как-то дошел до постели и через пять минут захрапел.

В семь часов Леху подняла жена.

– Ты чего, сдурела? – протянул спросонья Леха.

– Я вот тебе сдурею ща по шее! – пробуждала его жена. – Поговори мне еще, алкоголик. Опять набрался вчера!

– Да брось ты, разве я того?

– Ты даже не помнишь ни черта.

– Да брось ты!

– Ах, я, значит, брось! Ты помнишь хотя бы, как ты тетю Маню назвал?

– Тетю Маню? Как я ее назвал?

– Ты же совсем допился, ты даже не помнишь, как ты тетю Маню назвал. Вот сам к ней пойдешь извиняться. Мне же в глаза людям смотреть неудобно.

Маша раскручивала пружину супружеских отношений в обратную сторону:

– А зачем ты подзатыльник Сереженьке дал вчера?

– Ты чего? Не было такого!

– Ты и это забыл, алкаш несчастный. Форменный алкоголик. «Я офицер, я офицер!» Офицеры разве так себя ведут? Если тебя так воспитывали, это еще не значит, что ребенка бить можно. Господи, за что мне такое наказание? А ты помнишь, как ты хотел собаку натравить на мою маму?

– Вот этого не было, кисонька. Я всегда уважал твою маму.

– В общем, хватит разлеживаться, давай в магазин. Вот тебе список, и смотри, чтоб не обсчитали опять, ротозей. Да, и детям сок купить не забудь. Собаку захвати и не води его по грязи: пол вечно загадите. Ну давай, давай. Проверь, как собака сходит. Боюсь, нет ли поноса у него. Опять вчера его кормил черт те чем.

Леха выбрался на улицу, зашел в магазин, отстоял небольшую очередь, закупил все по списочку, вышел. Мухтар завилял хвостом, поплелся рядом, заглядывая в сумку. Прошагали мимо новостройки, потом небольшого пустыря. Леха нагнулся, подобрал палку, зашвырнул что было сил на поле. Закричал:

– Апорт, Мухтар! Апорт!.. – И сам почувствовал, что вчерашней уверенности в голосе нет.

Мухтар, видимо, тоже это почувствовал, обернулся с немым вопросом, и Лехе показалось, что в грустных собачьих глазах он прочитал: «Эй, ты что, забыл – пятница-то кончилась. Впереди предлинная суббота, а за ней целая неделя». Мухтар дал дочитать фразу до конца, потом повернулся и затрусил своей старческой рысью к дому, где его ждала хозяйка с тарелкой теплой овсянки.

2001

Картина на простыне

Тюфяков был поздним ослабленным ребенком. К трем го-

дам у него проявилось плохое зрение, сколиоз, боязнь темноты и настоятельная потребность держаться материной юбки.

Когда уходила мама, никто из родственников не мог его развеселить и облегчить его страдания. Тюфяков не плакал, а просто ждал и почти молча сглатывал рыдания.

В школе у мальчика были трудности со сверстниками: он ни с кем не дружил и редко играл с мальчишками, как принято говорить, в подвижные игры. Мама уделяла ему много внимания, водила заниматься музыкой, потом живописью, но, кроме отвращения, занятия ничего не вызывали, хотя он и продолжал регулярно посещать все классы, которые оплачивала мама. Школьные годы такие бесконечно долгие, но и они быстро проходят. Незаметно подошел выпускной год. И тут вдруг совершенно неожиданно Тюфяков влюбился! Он окончательно оторвался от материной юбки и робко последовал за другой. Она была, как говорится, ранняя девушка. В то время как в классе все были еще совсем девчонки, эта была статной женщиной с аккуратным бюстом. Тюфяков был не единственным, кого привлекала Лиза, и шансов у него, надо сказать, было не много. Сутулость, близорукость, робость и тупая решимость разбиться в лепешку за право стоять рядом с избранницей – не лучший набор в борьбе за обладание дамой сердца.

Тюфяков звонил ей по телефону, сопел в трубку, иногда, набравшись решимости, предлагал поход в кино и, получив

отказ, долго неутешно страдал. Время шло без успехов и побед, а вскоре начались еще более суровые испытания тюфяковского чувства. Однажды, стоя под окнами квартиры, в которой он мечтал находиться, он увидел Лизу, которая выходила из дома с высоким незнакомым парнем.

Тюфяков сначала вздрогнул, а затем впал в прострацию и пошел следом. Он не прятался, а шел как во сне, глядел на Лизу и представлял себе, что это он, высокий и красивый, идет рядом с ней и легко обнимает ее за талию. Он был в том же кино и на выходе искал глазами свою девушку. Затем шел следом за парой в кафе и сидел за соседним столиком. Высокому парню не нравился Тюфяков, он не знал, что это не хамство, а любовь, и поэтому хотел проучить Тюфякова. Или он догадывался, что это любовь, но все равно считал это хамством. Высокий парень проводил Лизу, поцеловал ее на прощание, затем повернулся к Тюфякову и без предупреждения ударил его по лицу. Тюфяков вытер рукавом кровь, которая потекла из носа, и впервые за вечер почувствовал облегчение. Он страдал за свою женщину, он не боялся высокого парня, и если бы умел, то дал бы, наверное, сдачи. Тюфяков не уходил, смотрел на высокого парня и улыбался. Высокий парень плохо понимал, что происходит в душе у этого психа, но на всякий случай решил не связываться.

Так было с несколькими кавалерами. Одни лезли драться, другим просто надоедала слежка. Наконец Тюфяков доказал свое право на место возле Лизы. И вот они сидели в кафе,

она наливала ему заварку из чайничка, а на столике была скатерть точно такая же, как у Тюфякова в детстве. Победа казалась так близко, но роман закончился не начавшись. Отзвенел последний звонок, и Лиза уехала куда-то на Украину к родственникам готовиться к экзаменам в институт. Однако вместо института выбрала замужество и роль домохозяйки. Вернулась через два месяца с мужем – взрослым бородатым мужчиной. Тюфяков потерял цель в жизни. Поступать в институт не стал, пошел работать продавцом в ближайший к дому продуктовый магазин. Родители сокрушались по поводу странного выбора сына, но он выслушивал все настолько обреченно и равнодушно, что, наконец, родители смирились. А вскоре у Тюфякова умерла бабушка, освободив внуку отдельную двухкомнатную квартиру, где он стал жить в полном одиночестве. Пиво и футбол его не интересовали, дни проходили однообразно, он чувствовал себя собакой, которая живет без хозяина – еды достаточно, но главного в жизни нет. А жизнь кипела вокруг: кто-то делал карьеру, кто-то раскрывал свои таланты. Тюфяков затаился. В это время в стране изменился строй: капитализм сменил социализм, свершилась сексуальная революция, да мало ли чего произошло. Все это шло мимо Тюфякова, он по-прежнему ходил в свой магазин и исправно продавал молоко и сахар. Иногда Тюфяков совершал вечерний моцион. Он ходил не спеша по Старому Арбату, смотрел на молодых людей, которые были с ним одного возраста, и удивлялся, как они

кривляются под музыку и горланят песни. Иногда он подавал нищим, которые подходили сами, угадывая, что им не откажут. Однажды Тюфяков прогуливался перед сном и неожиданно увидел Лизу, которую не видел несколько лет. Лиза изменилась, пополнела. Округлые формы, которые когда-то выгодно выделяли ее среди девочек, теперь подчеркивали ее тучность. Но этого всего Тюфяков не заметил: он понял, что Лиза брошена, несчастна и свободна – это было именно то, о чем он мечтал.

Девушка и впрямь производила жалкое впечатление. Лиза, которая когда-то пела на школьных концертах, теперь пыталась исполнить романс, а рядом с ней стояла жестянка, в которой лежало несколько монет и десять рублей бумажкой.

Певица была прилично одета, далеко не худа, но явно унижена и загнана жизнью в тупик. Люди к этому привыкли – денег никто не бросал. Никто даже не останавливался, чтобы послушать слабый жалующийся голос человека, попавшего в беду. Тюфяков не знал, что ему делать. Он подошел, пристроился рядом и стал подтягивать песню. Голос его поначалу дрожал от волнения, а потом приобрел уверенность, и они допели романс вдвоем до конца. Тюфяков стоял с женщиной, которая так долго ускользала от него и вот теперь была рядом, не уходила и не могла никуда уйти потому, что идти ей было некуда, и по щекам его катились слезы жалости, торжества и умиления. Вокруг собирались люди, люди как-то

чувствуют, когда происходит что-то необычное. То, чего они не видят каждый день и к чему еще не успели привыкнуть. Так было с первыми обложками порнографических журналов, потом с первыми калеками на проезжей части, с детьми в метро с табличками «Помогите на хлеб». Постепенно народ ко всему привыкает, перестает замечать и останавливаться. А вот прилично одетый мужчина, который поет козлиным голосом романс и плачет, – это было так необычно, так оригинально, что народ останавливался и бросал деньги.

Лиза стала жить с Тюфяковым. Рассказ ее оказался тривиальным: муж бросил, когда потерял работу, родители оказались настолько эгоистичны, что отказались содержать, а зарабатывать деньги она не умела.

Жизнь Тюфякова приобрела смысл, они, наконец, поженились. Тюфяков был проницателен и быстро научился предугадывать желания супруги. Экономя и откладывая, он умел вовремя сделать ей приятное, преподнести подарок – то в виде шляпки и чулочек, то в виде нового пуфика или полочки в ванну. А иногда и просто обыкновенной коробки шоколадных конфет.

Лиза полнела, и Тюфяков в душе радовался, поскольку чем тучнее жена, тем меньше шансов, что она уйдет к другому. Лиза быстро освоилась и обнаружила в себе склонность к разного рода деятельности: она любила переставлять мебель, создавать уют, стелить кружевные салфеточки и даже повесила над кроватью две картины. Картины смотрелись

очень миленько.

Каждый день Лиза вытирала с них пыль, хотя они почти не пылились. Отношения у Тюфякова с Лизой имели внутреннюю логику. Лиза дарила свою любовь Тюфякову, но не часто и не просто так, а в качестве вознаграждения, и тем самым наполняла его жизнь энергией, стимулом и смыслом существования. Что бы он делал в жизни, когда бы все доставалось ему само по себе, без труда! Роль продавца была забыта – у Тюфякова уже у самого появился маленький отдел, где работало двое продавцов, и он пристраивал в магазин левые продукты, скрывал доходы, вел черную кассу – короче, жил, как вся страна: добивался, преодолевал и дышал полной грудью.

Увидев в очередной раз, как Лиза вытирает пыль с картин, висящих над кроватью, Тюфяков достал из шкафа давно заброшенные кисти, пошел на рынок и купил краски, а вместе с ними подрамник с загрунтованным холстом. Сама собой пришла в голову идея: две киски опрокинули корзину и разматывают клубок ниток. Корзина плетеная, теплых тонов, белые котятки, розовый клубок шерсти. Рука сама повторяла скучные уроки, освоенные в детстве. Чистые краски, уверенный мазок, верный глаз – откуда что взялось. Картинка вышла лучше купленных на улице: уютнее, теплее. Так и хочется прижать к себе этих котяток вместе с пушистым клубком. Произведение было принято на ура, примерялось то к одной стене, то к другой. А к вечеру Лизу обуяла гордость за мужа

и прилив к нему самых бурных чувств. Картины стали появляться чаще – на них изображались и котятки, и птички, и прочие идиллические вещицы, которые были так понятны и близки Лизе. Лиза украсила все стены и вскоре приняла решение отнести часть картин в художественный салон. И вот тут случилось непредвиденное – в квартире появился искусствовед из салона и Тюфяков сразу почувствовал недоброе. Искусствовед оказался шикарным мужчиной невысокого роста в туфлях на каблуках. На нем был коричневый пиджак и в тон костюму галстук. Искусствовед покупал картины, которые хотел, потом без сожаления расставался с ними, когда за них давали лучшую цену. Он легко завоевывал понравившихся женщин, потому что те, которые не находили в нем очарования, казались ему глупыми и никчемными. При этом искусствовед был истинным профессионалом, то есть отлично чувствовал конъюнктуру рынка. Знал, что берут на стену в новостройки, что в подарок родителям, а что на свадьбу. Он безошибочно угадывал, где можно заработать и с кем. Профессия требовала быть психологом. Искусствовед не пришел бы в дом посмотреть на картины, если бы не хотел их приобрести, но и лишних денег платить не собирался. Поэтому он не преминул аккуратно намекнуть на мещанско-любительский характер висящих картинок. Знаток искусства красиво говорил про одержимость гениальности, про свежий ветер, который веет с полотен импрессионистов, про бурю чувств и смятение зрителя. Чем больше говорил

торговец, тем растеряннее становилось лицо Лизы и тем подобострастнее она смотрела на гостя. Лиза была подавлена. «Импрессионист» ушел, и Лиза заплакала! Она поняла, что все, чем она гордилась, разрушено. Что истинное счастье – это иметь высокие потолки, много воздуха и большие полотна в золоченых рамах. Полотна, на которых пространство, жизнь, небо. В квартиру, где висят подобные полотна, приходят мужчины в шикарных костюмах, курят трубки и говорят о достоинствах картин, и ее двухкомнатная квартирка с низкими потолками и кисками в корзинках стала ей отвратительна своим мещанским уютом и духовной пустотой. Спать легли в разных комнатах. Присутствие Тюфякова рядом вызывало у Лизы зубную боль. Тюфяков заперся в своей комнате, достал из шкафа чистую простыню, приколол ее к стене, вывалил из чемоданчика все свои краски на стол, выдавил их густо на палитру, а когда взялся за кисть, руки у него дрожали. Он еще не знал, что будет рисовать, но когда подошел вплотную к простыне-холсту, то почувствовал запах моря, услышал шум разбивающихся о скалы брызг. Он начал писать быстро и нервно. Море выходило неспокойным, бурливым, пенилось все больше, выкидывая вверх соленую пену. «Да это же буря, – подумал Тюфяков, – ну конечно же, буря!»

Казалось, что рядом с ним двое: первый, незримый, водит его рукой, а другой, внутри, повторяет, задыхаясь: «Ты хотела воздуха?! Вот тебе воздух! Ты хотела ветра? Вот тебе! Ты

хотела брызг и порыва? Получи!» Сколько всего скопилось в душе Тюфякова: ненавистные парни, провожающие Лизу, ее бывший муж, теперь этот искусствовед – все, кто хотел отнять у него его счастье.

На простыне не осталось белых пятен. Она висела тяжелая под слоем красок во всю стену, и в полумраке казалось, что комната – это вовсе не комната, а утлое суденышко, которое брошено в пучину, и море несет его неизвестно куда, и не ясно, куда вынесет.

Тюфяков был опустошен и одновременно счастлив. Он понимал, он чувствовал, что сделал именно то, что от него требовалось. Что бы теперь ни говорил искусствовед – он купит эту картину и выставит в своем салоне, а сам Тюфяков опять обнимет свою Лизу, зароется лицом в ее большое теплое тело, и ему будет темно, тепло и сыро, прямо как в утробе матери.

2000

Газа нет!

Николай Петрович привез домой новый холодильник. Долго советовались с женой, где его лучше разместить. Получалось, что так, как хотелось, поставить нельзя. И все из-за этой проклятой трубы. Именно в том углу, в который должен был вписаться новый холодильник, торчал кусок заваренной трубы, оставшейся со времен, когда в доме пользовались га-

зовыми плитами. Лет пять назад плиты заменили на электрические, трубу отрезали (но не на уровне пола, а как пришлось: сантиметрах в тридцати от него) и заварили. К трубе все привыкли, особенно она никому не мешала, пока не возникла вдруг необходимость поставить к стене холодильник.

Николай Петрович был мужчиной с руками и с характером и не привык пасовать перед такими трудностями. Он принес электрический резак (в народе его называют болгаркой) и хотел обрезать ненужную трубу под корень. Николай любил работать хорошим инструментом, держал его в порядке, и дело обычно у него шло споро, но в то же время степенно и аккуратно. Сейчас он слегка работал на публику. Рядом крутился восьмилетний сын, в дверях остановилась жена, с интересом наблюдая за работой мужа. Николай Петрович выполнял сразу несколько задач: удалял ненужную трубу, демонстрировал свое умение жене и воспитывал ребенка, а потому неторопливо комментировал свои действия: «Вот мы сейчас – чик! – подмигнул он сынишке, – и ничего мешаться не будет. Верно?».

Николай присел на колено, включил резак, диск закрутился, наполнив кухню ровным гудением. Жена прижала ладони к ушам в ожидании резкого звука. Николай Петрович занес резак, представил, как из-под абразивного диска польется сноп огненных искр и обрезок трубы упадет под ноги. И тут под руку с вопросом влез сын:

– Пап, а там газа нет?

– Нет, сынок, – сказал папа, слегка отдернув руку от трубы. – Газа нет, плита-то у нас электрическая!

– Коля, ты в этом уверен? Не дай бог рванет! – отняла от ушей руки жена. То, что ей было нужно, она слышала даже заткнув уши.

Николай Петрович выключил с досадой инструмент и продолжил более обстоятельно:

– Откуда же он там возьмется, газ-то? Пять лет уже, слава богу, пользуемся электричеством. В доме нет ни одной газовой плиты. А вы – газ!

Николай все это сказал, но резак так и не включил.

– Газа нет и быть не может, – возмущался все больше глава семейства. – Газа в принципе быть не должно! – После такого самоубеждения Николай Петрович хотел опять включить инструмент, но так и не смог. Жена, видя его мучения, пришла на помощь и сказала: «Коль, газа-то, понятно, нет, но ты бы позвонил все же в ЖЭК – чего проще? Они-то наверняка знают. А мне спокойнее будет».

Николай Петрович терпеть не мог общаться с работниками диспетчерской, но выбора не оставалось. Через полчаса удалось прозвониться.

– Алло, говорите, ну! – послышалось в трубке.

– Здравствуйте, – вежливо сказал Николай Петрович.

– Говорите быстрее, у нас авария в десятом подъезде. Говорите скорее, мужчина, я вас слушаю. Алло!

Николай Петрович бросил трубку.

– Ну что? – спросила жена.

– Да ну их! Скажет она мне, например, «газа нет», а где гарантия? Где гарантия? Она куда-то там бежит, у нее авария. Ей разве до меня! Она же даже выслушать не хочет. Как было десять лет назад, так ничего же не меняется! Вечно у нас все как на пожаре – сказал Николай и осекся. Жена вздрогнула при слове «пожар».

– Коля, ты не волнуйся – поставим холодильник рядом. Не так уж и мешает эта труба.

– Нет, мешает! Даже очень мешает, – вконец потерял спокойствие Николай.

– Ты знаешь что: сходи в диспетчерскую, поговори с главным инженером, он-то, наверное, знает.

Николай Петрович надел костюм, повязал на ходу галстук и рванул в диспетчерскую. Главного инженера на месте не оказалось. Он был на объекте. В приемной скромно дожидалось несколько человек. В соседнем кабинете оказалась женщина, техник-смотритель. Николай Петрович вошел без очереди, намереваясь задать только один вопрос.

– Скажите, газ в трубах, что у нас заваренные на кухне торчат, есть или нет?

– А вам зачем? – соображала на ходу техник-смотритель.

– Затем, что они мешаются!

– Самовольно внедряться в газовую сеть не положено, обратитесь к нашим слесарям, они на первом этаже находятся.

Николай сбежал по ступенькам вниз, отыскал полупод-

вальное помещение, где за слабо освещенным столом играли в домино целых два слесаря. Первому, пареньку с решительным лицом, было лет восемнадцать. Второму, проспиртованному сухонькому мужичку с хитрыми глазками, явно перевалило за шестьдесят. Николай быстро описал проблему и определил главный вопрос: «Газ в трубе есть или нет?»

– Не-а, – сказал молодой, – можешь ее снести к такой то бабушке, ничего не будет.

– Ну вот! Слава богу! – почти прокричал и затем тихо выматерился Николай. – А я, черт бы их всех побрал, бюрократов, битый час мучаюсь: резать – не резать, резать – не резать! Никто толком сказать не мог.

Николай уже хотел идти, как тот, что постарше, остановил его вопросом:

– Слышь, а на каком этаже резать-то будешь?

– На втором, а что?

– Нет, это я так, елки-палки! Над тобой, значит, сколько квартир-то?

– Это вам зачем?

– Размышляю я, елки-палки… Резать оно, конечно, можно, елки-палки, но хорошо бы с выселением.

– Да что ты несешь, Михеич! – возмутился молодой. – С каким выселением! Газа пять лет нет, а ты – с выселением. Вы его не слушайте – он у нас такой перестраховщик. Режьте трубы, и все.

– Вот голова бедовая, – подмигнул Николаю Петровичу

старичок слесарь. – Таким бы токмо шашкой махать.

– То есть вы считаете, что газ может быть? – спросил Николай.

– Газу-то, оно, конечно, быть не должно, это верно. Откуда ему там взяться? Ну а вдруг все-таки есть?

– Безобразие! – не выдержал Николай Петрович. – Никто ни черта не знает! То ли так, то ли эдак!

Николай вбежал в дом и с порога крикнул жене: «Света, собирай Алешку и живо во двор! Во двор, я сказал!!! Газа нет, буду резать!»

– Господи, – запричитала жена, – Коленька, родной, успокойся. Черт с ними с трубами с этими, никуда я не пойду! Что мы без тебя, как же мы?!

– Иди, говорю, газа нет. Ясно сказали: «ГАЗА НЕТ».

– Зачем же нам во двор-то тогда, а?

– Иди, тебе говорят, не доводи до греха!

Николай Петрович подождал, пока не хлопнула парадная дверь, убедился, что жена с ребенком на улице, включил резак, зажмурился и одним махом снес ненавистную трубу.

Потом закурил, вытер со лба пот, подошел к окну, махнул жене: мол, пора, все нормально. Жена вошла – обнялись. Постояли так, сын пристраивался сбоку, отец ворошил ему на макушке волосы, приговаривал: «Ну ладно вам, обошлось…» Потом поставили холодильник на место. Атмосфера разрядилась. Отец семейства опять обрел начальственные нотки, рассадил всех на кухне и стал победно за-

полнять новый холодильник продуктами. Мать наконец заулыбалась, и тут сын опять полюбопытствовал: «Пап, а эту трубу не надо заваривать? Вдруг кто-нибудь возьмет и опять газ пустит»

– Что ты ерунду говоришь! – сказал Николай Петрович. – Кто же это его пустит? – и посмотрел на супругу.

2001

Догоняем Японию

Я тогда учился классе в восьмом или девятом (лет 35 назад это было), где-то прочитал или услышал, что в Японии такой уровень благосостояния, что на помойке можно найти магнитофон или пылесос, который не сломался, а просто вышел из моды. Я тогда не поверил, не мог себе представить такого. Нет, пылесосы и приемники я находил во дворе, но ясно было, что они не работают. В пылесосах много было чего ценного: магниты из электродвигателя, проволока медная и разное еще.

И вот прошло 30 лет с небольшим, и мы доросли до уровня Японии. Мне жена говорит недавно: «Отнеси на помойку пылесос, он плохо работает». Я, конечно, не понес. Плохо, но работает же. А потом вспомнил про него, когда жена его уже сама выбросила, и так подумал: «Эх, а ведь там магниты», – и промолчал. Просто догнали мы Японию, и не до магнитов теперь. И молодежь уже совсем по-другому воспита-

на: идут мимо помойки и ничего не замечают, ну там лыжи торчат практически новые, или плинтуса. И я тоже прохожу, вижу все и прохожу. Вернее, так: приторможу, пригляжусь, попереживаю, прикину так и эдак и прохожу мимо. И тем не менее в последний раз все-таки не выдержал.

Было это летом, на работе обеденный перерыв, и я вышел пройтись возле офиса. Иду дворами, мимо контейнера помоечного, недалеко от подъезда многоэтажки, и прямо передо мной два молодых парня выносят из подъезда полки и ставят рядом с контейнером. Видимо, им совесть не позволила в помойку такие вещи кидать, поставили так бережно рядышком с контейнером – мол, кому нужно, тот возьмет. И обратно в подъезд юркнули. Меня прямо волна негодования захлестнула – полки ну почти новые, целые, со стеклами. Тридцать лет назад такие не то что на помойку, такие искали днем с огнем по мебельным. Понял я, что пройти не смогу. К полочкам подхожу, и в голове мысли, мысли. Вот досада, думаю, офис у меня от дома далеко – через всю Москву ехать. Был бы дом рядом – я бы их сразу взял и отнес. А тут в любом случае нужно ждать, когда рабочий день закончится, а такие полки до вечера точно не доживут. Японию догоняем, но пока не догнали. И вот, стою я рядом с полочками и думаю: переставлю-ка я их лучше-ка за контейнер, там они не так видны будут, а вечерком пройду мимо – если им еще никто ноги не приделал, отвезу домой. И только я к полочкам подошел – какой-то мужик ко мне торопится. Я уж ре-

шил: плакали мои полочки – значит, не судьба, видать, ему нужнее. А он нет – мимо меня сразу к контейнеру и там шуровать стал. Ну, думаю, пока никто полочки не увел, надо их скорее убирать подальше. И тут старушка какая-то к полочкам подбегает и даже руку на них кладет, будто она первая их заприметила. Мне за нее даже неловко стало. Явно же я первый полочки приглядел. Хотел я женщине объяснить, что я уже минут пять мебель данную оцениваю, что зря она руки свои на полочки кладет, как опять к нам те самые два парня семенят, и у них в руках совсем новая тахта. И тут один из парней кричит:

– Мать, ты что за полки уцепилась, никуда они не денутся, лучше корзинки свои забери из подъезда, сейчас машина придет, а у нас половина вещей наверху!

– Ничего, я лучше тут постою… – ответила мать и смерила меня всепонимающим взглядом.

2015

Я не псих!

В здании больницы имени Кащенко, куда поступил по распределению новый молодой врач-психиатр, был зал лечебной физкультуры. Днем его занимали больные, а по вечерам зал обычно пустовал. Но никто из медперсонала им не пользовался.

Надо сказать, что новый доктор принадлежал к категории

мужчин, которые тщательно следят за своей фигурой, любят потягать железо, а место для таких занятий, как известно, найти непросто. И вот через некоторое время доктор здорово приспособился: принес на работу гантельки и после трудового дня заходил в зал ЛФК и занимался в свое удовольствие. Однажды вечером, дело было в пятницу, врач никуда не спешил и, видимо, решил дать нагрузку мышцам поосновательнее. Расположился, включил везде свет, расстелил маты, повисел на канате – красота, никто не мешает. Во всем здании остались он, уборщица ну и, естественно, душевнобольные.

Уборщица помыла полы, прибралась, протерла пыль, заперла что полагается, сдала ключи на вахту и подалась, так сказать, на волю. Больные занимались своими повседневными делами: для них выходные дни ничем особым и не отличались от будней.

Молодой доктор, наконец, закончил занятия, вышел из зала, хотел пройти в коридор, но дверь оказалась заперта.

Впереди два выходных, можно сколько хочешь заниматься спортом. И вот парадокс: когда хочется подвигаться, покачаться и не хватает времени – досадуешь: «Ах, был бы сейчас зал!». А когда выпало часов сорок на занятия в отличном помещении, где и снаряды все есть, и ни одна живая душа не мешает – так никакого энтузиазма. Наоборот, доктор занервничал, засуетился. Вышел на лестничную клетку, пробежал все этажи: двери заперты – никуда не выберешься.

Покричал, вдали кто-то вяло отозвался. Он попытался успокоиться и стал проверять все заново, обстоятельно и методично: на одном из этажей дверь поддалась, спортсмен легко пронесся по коридору, добежал до окна и увидел внутренний дворик, в котором мерно прохаживались больные примыкающего санаторного отделения. Молодой врач присмотрелся. К счастью, по аллеям гуляли не только больные, но и медперсонал: одна санитарка везла старушку в кресле-коляске, еще две о чем-то разговаривали в сторонке. Слава богу, подумал узник, сейчас выпустят. Открыл форточку, просунул как можно ближе к решетке свое лицо и закричал:

– Эй, выпустите меня отсюда!!!

И стал смотреть через грязноватое стекло на реакцию: увидел ли его кто-нибудь. Один мужчина оглянулся, другой поднял голову. Молодой доктор пролез еще ближе к решетке и заорал изо всех сил: «Это я!!! Я доктор! Я здесь по недоразумению!» Больные реагировали: мужчина в сиреневой пижаме и круглых очках показывал пальцем своему соседу, который шарил взглядом по фасаду и, видимо, хотел понять, откуда кричат. Медперсонал был менее любопытен: санитарки занимались своими делами. Молодой доктор понял, что надо крикнуть что-то такое, чтобы все поняли, что он не псих. И закричал снова: «Это недоразумение, я занимался спортом, а меня закрыли. Вы что, не слышите? Я врач!»

Больные начинали скапливаться в кучку и показывать пальцами. Они, наконец, поняли, из-за какой решетки кри-

чит доктор. Толпа сначала собралась, пошумела, а потом стала редеть.

– Вы что там, охренели совсем! Я же не псих! Позовите дежурного врача. Я требую! Я вам кричу! Эй, ты, с коляской! Вы что оглохли?

И сам удивился агрессивной и в то же время плаксивой ноте в своем голосе.

Народ расходился. Буйных здесь не любили. Да и все эти пустые угрозы и жалобы были так хорошо всем знакомы. Так безнадежно наскучили не только здоровым, но и больным!

1998

Фима и Сережа

Фиму крепко обидели. Ездил он на собеседование в Москву наниматься на работу. Сорвал на углу дома объявление, приехал, куда было велено, отстоял очередь, дождался, сказали купить анкету и заполнить по образцу, а уже потом с этой анкетой в десятый кабинет к начальнику идти.

Фима так и сделал, заплатил за анкету (одну из последних взял, успел), отдал немалые деньги – пятьдесят рублей, заполнил все как следует и встал в другую очередь для разговора с начальником. Народищу набежало: зарплату солидную обещали, а кого возьмут – не известно. Нервничал, волновался, а попал на прием – все мысли растерял, на вопросы вроде ответил, но не взяли из-за ерунды.

«Прописка, видишь ли, не московская. Так ведь не сказано было в начале-то. Да и человек от прописки меняется, что ли? Раз я к ним приехал, значит, и на работу могу ездить; так нет – не нужен. Пятьдесят рублей зачем тогда платил, спрашивается? Надо было спросить, почему деньги не отдали. Не спросил, постеснялся, начальник уж больно солидный. Были б лишние, а то и на работу не взяли, и денег лишился. Со всех сторон дурак получается. На себя же зло берет. Уж очень мы интеллигентные, все нам совестно, все неприлично. Нет, чтоб кулаком по столу: либо деньги назад, либо зарплату авансом. Все неловко, вот и распустили проходимцев… Вся страна жулье. А нам скоро зубы на полку класть придется: ни сбережений, ни зарплаты, ни туда, ни сюда. По жизни не везет: с одной работы выгнали, на другой – ногу сломал, отлежал в больнице, вернулся, а на мое место уже давно другого взяли и не берут больше никуда. А есть-пить надо…»

Добрался Фима до вокзала, купил билет, в кармане десятка осталась – позор. Раньше, при советской власти, хоть на билете сэкономить можно было, теперь нет – турникеты понаставили! Выжмут из человека последнее, крохоборы.

Фима вставил свой билет в автомат, прошел на платформу. Людей пруд пруди, толпятся, норовят угадать, как бы так встать, чтоб напротив двери оказаться, когда электричка остановится.

«Чтоб сейчас кто место уступил – черта с два! Это рань-

ше, может быть, такое было. Теперь прут, как лоси. Никакого понятия у людей не стало, никакой совести. Старый человек попадет, затрут!», – сплюнул Фима на пол от обиды за стариков, настроение уж больно скверное было. Наконец подошла электричка, открылись двери, и Фима полез вперед, заработал плечами, а мужик он был не сильно плечистый, так что, когда сосед справа поднапер слегка, тут Фима и отлетел в сторону. Успел на обидчика глянуть и глазам не поверил: Сережка с соседней улицы, пацанами в одной компании бегали.

«Это ж он меня так плечом саданул, вот отожрался, боров, – не мог придти в себя от негодования Фима. – Мало того, что отпихнул – сделал вид, что знать не знает. Ну не гад? В Москве, видать, работает… ну и нос дерет. Сволочь. Москвич, тоже мне! Через три дома от меня живет. Небось, начальника бы своего московского увидел, плечи бы не расставлял. „Здрасте-здрасте, проходите, садитесь, пока места есть!“. А кореша, друга детства, можно сказать в глаза не признает…»

Пока Фима возмущался, оттерли его совсем в сторону, да еще бабка какая-то больно стукнула по ногам и прокричала: «Куда лезешь, ирод?».

«Лягается, дрянь такая, – подумал Фима и перестал бороться за место: без толку уже было. Пришлось стоять всю дорогу в тамбуре. А мужики смолят и смолят – не продохнуть. Фима был человек некурящий и потому сильно стра-

дал от табачного дыма. В принципе не понимал: почему люди здоровье свое гробят и от этого получают удовольствие. – Дурь несусветная – рассуждал Фима – Ну не глупо ли: знаешь, что светит тебе рак легких, и продолжаешь курить. А они курят. Просто дебилы какие-то. Мало, что свое здоровье портят, так ведь еще и окружающих травят». Фима как-то прочитал в журнале «Здоровье», что каждая сигарета на десять минут сокращает человеку жизнь, и с тех пор ни ради баловства, ни за чужой счет – ни под каким видом. Его угощают, а он отказывается. А тут что поделаешь – стой да дыши… Никуда не денешься.

«Или алкаши эти, кстати, – все новые огорчительные мысли лезли в голову Фиме. – Покупают то, что подешевле, а что такое дешевая водка? Это спирт технический, разбавленный водой из-под крана, или еще не знамо что. Это у нас теперь бизнес такой. Они деньги делают, а народ-дурак пьет и травится. Нация вырождается, и никому дела нет. Государству наплевать. Чиновники только и знают, что под себя гребут».

Доехал с грехом пополам Фима до своей станции. Вышел на платформу: глядь Сережка из того же вагона вывалился, следом идет. Шатается, набрался, видать, в Москве-то. Фима встал, чтоб его видно было, ждал, что его, наконец, признают, поздороваются. Какой там! Прошагал мимо, только перегаром пахнуло: смотрит внутрь себя и идет по заученному маршруту, как водовозная кобыла.

«И вот такая пьянь в люди выбивается, а человек с пони-

манием пороги обивает!» – злился Фима.

Видел Фима тут недавно, как Сережка к соседнему дому на своей новой «газели» подъезжал. Дядя Вася вышел, подбежал своей приседающей походкой, весь как-то сгорбился (прямо как перед президентом), поздоровался. Сережка даже из кабины своей не вылез. Приспустил окошечко и небрежно бросил:

– Здорово, дядь Вань…

А дядя Ваня подобострастно так, сахарно:

– Ну, Серега, ну ты человек! Вышел, понимаешь, в люди!

«Ну конечно, Серега человек, потому как на „газели“ ездит, а мы дерьмо… потому как пешком ходим».

Фима шел за Сережкой следом, смотрел в ненавистную квадратную слегка раскачивающуюся из стороны в сторону спину.

«Понятное дело: «газель» купил, теперь, конечно, со мной ему поздороваться стыдно. Новым русским, небось, себя считает, жулик. Вся семья у них такая. Помню, еще в детстве про его мать (она в стекляшке продавщицей работала) кто-то рассказывал: «Ты как хошь, а она тебя все равно обманет. Конфеты, если и свешает правильно, так одну непременно уронит. Так по конфетке с покупателя: глядишь, к вечеру на полу целая коробка валяется. Рядом с мешком сахара бидон с водой: вода испаряется – сахар тяжелеет».

Все верно, а как иначе на «газель» накопишь? Она, поди, тыщ на триста потянет. Это же всю жизнь работать – столько

не заработаешь, а они вот так: раз и пожалуйста. И никто не спросит теперь, откуда такие денежки. Времена другие.

Сумма в триста тыщ вконец раздосадовала Фиму, и так его разобрало, что ничего вокруг не видит, только в спину вражескую упирается взглядом как бык в красную тряпку. «Может, правда, подержанную брал?» – промелькнула успокоительная мысль. – Может, оно подешевше тогда вышло? Опять же, смотря где брал. Впрочем, не похоже, что сильно дешево… Дом-то вон новой черепицей покрыл, паразит, и гараж новый тыщ на пятьдесят потянет». Как не крути, все выходило скверно.

Надо бы окликнуть его. Посмотреть на рожу его наглую, спросить, почему не здоровается. Фима уже совсем крикнуть хотел, да передумал: «Еще, глядишь, мне же накостыляет. Что алкоголику в пьяную башку взбредет, – неизвестно. Вон спина-то какая. Не зря в народе говорят: сила есть – ума не надо. У него и в детстве кулак был тяжелый,» – вспомнил с досадой Фима.

Улица с фонарями кончилась, дальше дорога шла через лесок. Сошли с асфальта, тропка хлипкая – грязь под ногами так и чавкает. Серега впереди идет, матерится: от лужи к луже прыгает, но не обернется, нет.

Вошли, наконец, в лесок. Чтоб до поселка дойти, надо было пересечь небольшой лесочек, который редел год от года.

«Ишь нашвыряли свиньи, – ворчал про себя Фима, оглядывая помоечный подлесок, – культуры никакой. Всяк свое

дерьмо норовит в общий лес отнести, а потом удивляются, отчего грязь. Всем и раньше наплевать было, но хоть по субботникам иногда чистили, а теперь… теперь дерьмократия. Разве таким, как этот Серега, до общего леса, вот когда они и лес к рукам приберут, обнесут его забором, тогда, наверное почистят, только нас уже туда пускать не будут! Эх, прямо руки чешутся. Так бы и набил ему морду пьяную! Впрочем, с таким голыми руками не справишься. Дать бы чем-нибудь по башке – и в лес… Да, небось, поймает, прибьет. Неужели придумать ничего нельзя? Говорят, у шпионов мазь такая есть. Поздоровался за руку, сам руки через пять минут помыл, и тебе ничего, а того, с кем поручкался, через полчаса сердечный приступ хватит, и на тот свет человек пошел. И ни одна живая душа о том не узнает. Был человек, ездил на „газели“ и отъездился! Или как современные киллеры делают. Изучил повадки своего врага, в книжечку записал: во сколько он из дома в сортир выбегает, когда с участка на работу выходит, когда через лесок идет. За каким кустиком прицелиться».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.